ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



7 (254) июль 1976

Журнал основан в 1955 году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Роберт Рождественский





✪

Льдины,
растаяв,
становятся
синью в реке,
Птицы,
взлетая,
становятся
стаей упругой.
Дети,
рождаясь,
кричат на одном
языке,
заклиная взрослых людей
понимать
друг друга!

✪

Та зима была,
будто война —
лютой.
Пробуравлена,
прокалена ветром.
Снег лежал,
навалясь на январь
грудой.
И кряхтели дома
под его весом.
По щербатому полу
мороз крался.
Кашлял новый учитель
Сергей Саныч,
застывали чернила
у нас в классе,
и контрольный диктант
отменял завуч.
Я считал:
не случайно
болит горло.
Не случайно
холодным бельмом —
солнце.
Запрещается
смена времен года,
потому что
зима и война —
сестры!
И хлестала пурга
по земле крупно,
и дрожала река
в ледяном гуле.
И продышины
в окнах
цвели кругло,
будто в каждое
кто-то всадил
пулю!
И надела соседка
платок вдовий.
И стонала она
допоздна-поздно...
Та зима была,
будто война —
долгой.
Вспоминаю
и даже сейчас
мерзну.

✪

Больничный коридор,
пустынный,
будто поле.
Осипший баритон
товарища по боли...

Больничная стена.
Бессонные:
«а если...»
Сухие письмена
«истории болезни»...

Предчувствие расплаты
и холодок вины.
Всегда,
когда больны,
мы
в чем-то виноваты...

Больничный потолок,
квадрат,
глядящий немо,—
мое второе небо
на неизвестный срок...

Злой и веселый сразу,
держа судьбу в руке,
профессор
цедит фразу
на мертвом языке.

И все ж,
смирив гордыню,
вполне доволен я:
прекрасно по-латыни
звучит
болезнь моя!..

Больничное окно
опасно, как бойница.
Как будто бы больница
осаждена давно.

Закатные пожары
стекают,
словно воск...
Больничные пижамы,
как форма
неких
войск.

Художник

А он —
 неумелый,
 как мастер,
не знает
опять ничего.
И более всякой напасти
страшится
 себя самого.
И снова —
 сплошные препоны.
И в мире не создано книг.
И вновь —
 пред началом работы —
он сам у себя
ученик.

Оглянувшись

И все ж,
 пройдя сквозь тайгу
 и пустыни,
поверив в детей,
 как в себя самих,
мы знаем:
не кончится,
не остынет
и не ослабнет,
 хотя бы на миг,
напористость плуга,
дыханье завода,
движение
 скальпеля и пера...

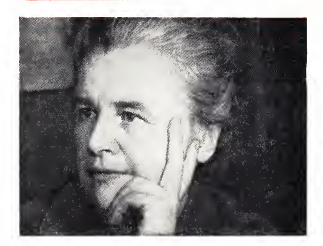
Мы помним о том,
что любое Сегодня —
всего лишь
 завтрашнее
 Вчера.

Программистам, обучающим ЭВМ

Проводов натруженные жилы.
Алгоритмов сомкнутая мощь.
Учится
 писать стихи
 машина.
Я не против.
Я хочу помочь.
Я ее программы
 не нарушу,
одобряя стихотворный зуд...

Только
мало — в рифму.
Надо — в душу.
Рифмы рифмами.
 Не в этом суть...

Пусть же,
 как положено,
 вначале
втиснутся
в машинные зрачки
уравненья
 счастья и печали,
формулы
 удачи и тоски.
Но однажды пусть
она, машина,
осадив
 свой электронный бег,
зная все конструкции снежинок,
тихо спросит:
 «Что ж такое снег!..»,
«Как это возможно —
 запах детства!..»,
«Почему вам снится скрип саней!..»
И пускай
 непостижимо тесно
в ящике железном
станет ей!
Пусть она,
 как мы,
 почует ветер.
Испытает пусть,
к земле склонясь,
зависть к тем,
 кто жил до нас на свете,
ревность к тем,
 кто будет после нас.
(Это сделать непременно стоит,
если уж всерьез
учить ее.)
Пусть она —
 хотя бы раз —
 застонет,
ощутив бессилие свое.
Пусть почует жар нетерпеливый
и запомнит,
 как приказ: «Живи!»
Если б вся любовь
была счастливой,
не было бы
 песен о любви...
Поднимаясь на дыбы ершисто,
собственный
 обозначая путь,
пусть она
единожды
решится
(не подумав!)
сделать что-нибудь.
Пусть потом опомнится,
остудит
мозг несметный,
но — ему назло,—
прокляпнув себя,
 опять поступит
глупо,
 нелогично
 и светло!
Спутает, что важно,
 что не важно.
Вымолвит:
«Какие пустяки!..»
...Может быть, тогда машина ваша
и напишет
настоящие
стихи.



Наталья
БАРАНСКАЯ

ДВА РАССКАЗА



Рисунки
А. ЧЕРНОВА.

ЛУШКИНА РАБОТА

Лушка была самая маленькая в классе — не по возрасту, по росту. Маленькая, худая, будто не восьмого, а пятого класса ученица. Училась она средне — тройки, четверки. Бывали пятерки, но редко. Все это — рост, худобу, отметки — мать Лушки объясняла едой.

— Еда у нас неважная,— говорила она,— и Юрка твою долю съедает: пока ты ложку возьмешь, он уже кастрюлю выскребет.

Юрка — Лушкин брат, на три года моложе,— находился в самом обжористом возрасте. В двенадцать лет самостоятельные мальчишки, которые гоняют во дворе все свободное от занятий время, всегда просят добавки.

Пора уже сказать, что Лушка вовсе не Лукерья, а Лукьянова Вера, ученица восьмого «В» класса, прозванная Лушкой. Ласковое это имя говорило о том, что в классе ее любят. И было за что: Лушка — хороший товарищ, редко откажет в просьбе, отчего приходится ей дежурить не в очередь, выполнять поручения учителей и давать взаймы на неопределенное время двадцать копеек, выданные мамой на завтрак.

Сверх отзывчивости и доброты было в Лушке еще одно привлекательное свойство — она была похожа на знаменитую гимнастку Ольгу Корбут. Лушка об этом знала и любила причесываться в две косички, как Ольга.

Была весна, кончался учебный год. Все обсуждали летние планы, классные модницы — летние платья. А несколько человек со школой прощались: уходили в ПТУ. Лушка тоже уходила — работать. Она сама выбрала себе дело, к которому давно присмотрелась,— продавцом в магазин электротоваров «Свет». На полгода надо было идти в ученицы и получать мало. К этому она тоже была готова.

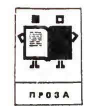
Еще зимой, проходя мимо стеклянных стен магазина, всматриваясь в его сияющее, блесткое нутро, любуясь нарядными люстрами, цветными абажурами, никелированными приборами, белыми холодильниками, она поняла, что ей хочется двигаться среди этих вещей, и не просто двигаться и глядеть, но трогать, владеть ими. А в витрине стояла доска, на которой было написано, что принимаются на работу ученики продавцов с образованием не ниже восьми классов, в возрасте не менее пятнадцати лет.

С этих зимних дней, когда Лушка разглядывала магазин, она привыкла думать о нем. Сначала как о возможной работе, а потом как о работе желанной.

Укрепляло ее в этом решении и то, что работать было необходимо. Она видела: матери трудно растить их двоих — кормить, одевать. Много лет работала мать в химчистке, в цеху, но года три назад нашли у нее хронический бронхит и работать с химикатами запретили. Она перешла в приемщицы, заработок снизился, а здоровье не восстанавливалось. Отец несколько лет назад ушел от них, завел другую семью; он помогал, но деньги были небольшие, у него росли уже другие дети, им тоже надо было.

Юрий
ДОДОЛЕВ





ПОВЕСТЬ

ВЕРЮ

Юрию Васильевичу БОНДАРЕВУ

Наша юность была трудной и беспокойной. Мы воочию видели то, о чем нынешнее поколение судит теперь по книгам и кино. Мы рано поняли, как вкусен ломоть черного хлеба, рано познали горечь утрат. Повзрослев в июне 1941 года сразу на несколько лет, мы еще долго оставались в душе мальчишками, романтиками и мечтателями. Мальчишеские мечты согревали нас в запорошенных снегом окопах, укрепляли нашу веру в добро и справедливость. Наша юность неповторима. И, быть может, именно поэтому мы так часто обращаемся в своих произведениях к нашей юности — беспокойной, но прекрасной.

1

Как только «Узбекистан» вышел в открытое море, я почувствовал себя плохо: в висках застучало, перед глазами поплыли, расплываясь, круги, в горле начались спазмы. Я решил, что это, наверное, от голода — последнее время я перебивался случайными заработками, которых едва хватало на пресную кукурузную лепешку, попахивающую дымом. Потом, когда меня начало выворачивать, я понял, что это морская болезнь, и с горечью подумал: «Никогда мне не быть моряком, не сбыться моей мечте». Впрочем, об этом я догадывался и раньше, когда лечился от контузии в госпитале. Врачи в то время часто обследовали меня: заставляли вытягивать руки, закрывать глаза, приседать. По выражениям их лиц я понимал: контузия не прошла бесследно.

Палуба мелко-мелко дрожала от скрытых в трюме машины, пахло мазутом и водорослями — их йодистый запах не перебивала даже вонь густого дыма, валившего из трубы, низкой и широкой, похожей на бетонный колодец. За кормой стелился, прижимаясь к буруну, черный шлейф, и было непонятно, чем за-

Рисунки
Б. ЖУТОВСКОГО.

волакивается мутнеющий берег — дымом или предвечерним туманом, наползавшим из глубины Апшеронского полуострова.

Чем дальше «Узбекистан» уходил в море, тем выше становились волны. Брызги залетали на палубу. Мое лицо покрылось изморосью, словно после надоедливого, осеннего дождя. Волны возникали на самом горизонте, катились к судну, увеличиваясь прямо на глазах, обрастали белыми барашками. Зеленоватые тяжелые глыбы приподнимали «Узбекистан», палуба начинала «ходить», и тошнота усиливалась. Хотелось одного — свернуться калачиком и уснуть. Но лечь было негде: на палубе возвышались контейнеры, закрепленные канатами ящики и тюки. Между ними сидели пассажиры — мужчины в потертых пиджаках, гимнастерках, женщины в ситцевых платьях, с накинутыми на плечи ватниками. Привалившись спиной к тюкам и ящикам, молодухи кормили младенцев. Мужчины разрывали руками тощую воблу, обсасывали каждую косточку, по-крестьянски неторопливо откусывали хлеб, испеченный пополам с кукурузной мукой, бережно подбирали с пиджаков и гимнастерок крошки. Дети играли в палочки-выручалочки.

Убедившись, что никто, кроме меня, не испытывает морской болезни, я опять почувствовал горечь и тоску одиночества, как бывало со мной и раньше, когда я, неприкаянный, мотался по Кавказу из города в город, все искал чего-то, а чего — сам объяснить не мог. Хотелось душевного покоя, хорошей и легкой жизни, но я уже давно понял: такой жизни мне не найти — хоть всю страну исколеси.

Восемь месяцев назад, только что демобилизовавшись, я думал по-другому. Тогда казалось: все будет — стоит только захотеть. Не за просто так мы кровь проливали, думал я в те дни, в окопах мерзли, под пулями ползали.

Быстро промелькнул месяц, отведенный демобилизованным для отдыха, отощал «сидор», в котором хранил я выданные старшиной продукты. После сытной армейской жизни скудной показалась мне карточная норма. Всего пятьсот пятьдесят граммов хлеба. А на фронте давали девятьсот! Конечно, и на фронте бывало иногда голодновато, но это от разгильдяйства, оттого, что старшина не обеспечивал в срок.

В райисполкоме, куда вызывали демобилизованных по поводу трудоустройства, мне предложили пойти грузчиком на фабрику или учеником в мастерскую. Я фыркнул про себя: «Тоже мне — обрадовали! Неужели я лучшего не заслужил?» Так и спросил. На меня внимательно посмотрели: «Гражданская специальность у вас есть?» Специальности у меня не было. До армии не успел приобрести, а на войне научился стрелять, спать где придется, обстирывать сам себя, пришивать пуговицы, подворотнички. Это не так уж мало, если учесть, что до армии я был маменькиным сынком.

Устроился я на фабрику грузчиком, таскал тюки с хлопком. Решил учиться в вечерней школе, но бросил. На второй или третий день учительница вызвала меня к доске, велела написать формулу суммы квадратов двух чисел. Я уставился на доску, словно баран на новые ворота. Все захихикали. Я расстроился — и вон. Утром учительница пришла домой, стала уговаривать вернуться, а у меня в ушах не затихало хихиканье. На этом и завершилось мое образование.

Три месяца работал грузчиком. Затем взял расчет и махнул на Кавказ. Зачем? Захотелось на мир посмотреть, себя показать — другого объяснения нет. О том, как и на что буду жить, старался не думать. Пока деньги не перевелись, сносно жил. А потом... Продал все, оброс, как дьячок. Зарабатывал крохи: то чемодан поднесу, то мешки перекидаю, то яму выкопаю. Руки огрубели, стали шершавыми — только это и утешало меня. К частнику подрядился урожай собирать, думал, отъемся на фруктах. В первый день килограмма четыре смолотил. Но опротивели и яблоки, и груши, и сливы, да и сытости они не давали.

Тоскливо было по ночам, когда, сжавшись в комок, я лежал на каком-нибудь тряпье и, ощущая холодное дыхание моря, думал. Разве о такой жизни мечтал я на фронте?

За полгода я исколесил весь Кавказ и вот теперь пробирался в Ташкент, потому что запомнил с детства: «Ташкент — город хлебный». Убеждал сам себя: «В Ташкенте все изменится, все будет по-другому». А в голове копошилось: «Что изменится? Что будет по-другому?» Еще в детстве мне говорили, что я безвольный, податливый, словно глина. И добавляли: «Из глины, между прочим, грязь получается».

В запасном полку и особенно на фронте моя воля подчинялась воле других. Я полагался на знания, сноровку, ловкость тех, кто был старше меня, кто имел жизненный опыт. Солдатская служба вспоминалась сейчас как удовольствие, хотя на самом деле это было не так. Но солдату не приходилось думать ни о хлебе насущном, ни об одежде, ни о многом-многом другом, что необходимо человеку. Солдат выполнял приказы, а теперь мне никто не приказывал, никто не давал поручений, никто не готовил для меня пищу, никто не предлагал взамен изношенной гимнастерки новую...

...На «Узбекистан» я пробрался без билета — в карманах даже пятака не было. Но я мечтал, строил планы. Так продолжалось до тех пор, пока меня не скрутила морская болезнь.

Измученный ею, я отошел от борта и стал слоняться по палубе, отыскивая укромный уголок. Наткнулся на чьи-то ноги, врезался лбом в ящик. На лбу вспухла шишка. Кто-то обругал меня, кто-то вскрикнул.

Гимнастерка пузырилась на спине, лоб и щеки покрывала влага. Я провел рукой по волосам, и ладонь тоже стала мокрой.

В люк, куда заглянул я, почти отвесно уходила узкая металлическая лесенка с рубчатыми ступеньками. Ее освещала горевшая вполнакала лампочка, ввинченная сбоку. Я спустился вниз, держась за обитые жестью стены. Одна дверь вела в машинное отделение: я увидел поршни, похожие на ноги огромных чудовищ. Толкнул створку второй двери и, шагнув вперед, очутился в тесном закутке, заставленном какими-то банками, судя по запаху, с краской. В углу лежала ветошь. Решив, что лучшей постели не найти, лег и сразу заснул...

Проснулся я от брани, той беззлобной брани, которая одних озадачивает, других подхлестывает, третьих заставляет болезненно морщиться.

Голос доносился с палубы. Я вслушался: речь шла о каком-то ящике, который надо было поставить так, а не этак.

— Черти полосатые! — гремел голос.— Написано же — не кантовать! — Далее следовали слова, которые в печатном тексте не употребляются.

Корпус «Узбекистана» уже не сотрясался. Из машинного отделения долетало лишь легкое постукивание. Оно было неторопливым, ритмичным, как биение не обремененного болезнью сердца. За металлической обшивкой шелестела вода. «Узбекистан» шел малым ходом, застопорив, видимо, все машины, кроме одной. Перешагивая сразу через несколько ступенек, я выбрался на палубу.

Было раннее осеннее утро — то утро, когда нельзя определить, каким — пасмурным или солнечным — станет день. У горизонта облака сливались с морем — спокойным, зеленовато-холодным. Отчетливо виднелся берег — песчаная коса с амбарами, складами и другими постройками. Она сменилась буграми, к которым, словно ласточкины гнезда, лепились белые домики. Поодиночке возвышались деревья — чахлые, с увядшей листвой. Было прохладно. Но я уже знал: утренняя прохлада на юге обманчива.

«Узбекистан» медленно вползал в бухту, раздвигая форштевнем полузатопленные ящики, обрезки досок, огрызки яблок, ореховую скорлупу. На палубе суетились матросы, прикрепляли к чугунным тумбам канаты; матросами командовал мужчина в мичманке, в холщовых брюках, в застиранной тельняшке с дыркой на выпирающем животе, судя по всему, боцман. Шея у него была кирпично-красной, иссеченной морщинами, взгляд — недовольным.

— Пошевеливайся, пошевеливайся! — то и дело покрикивал боцман.— Разленились, черти, управы на вас нет!

Еще в Баку я узнал, что билеты будут проверяться при выходе. Стал соображать, как в Красноводске смыться с «Узбекистана» подобру-поздорову, как обхитрить боцмана, который, вероятно, встанет у трапа. Ничего не придумал и решил: как будет, так и будет.

На капитанском мостике прозвучала команда, постукивание прекратилось. «Узбекистан» теперь плыл по инерции, приближаясь левым бортом к быстро надвигавшемуся причалу, на котором сиротливо маячил матрос в бескозырке без ленточек. Когда до причала осталось несколько метров, снова застучала машина, за кормой вспух бурун, во взбаламученной винтами воде скрылись обломки досок и прочий хлам. Привалившись бортом к истершимся автомобильным покрышкам, «Узбекистан» замер. Матрос на причале ловко подхватил брошенную ему чалку, надел ее на чугунную тумбу. Выдвинули трап, и пассажиры, сбившись в кучу, устремились к нему.

— А ну осади, граждане! — Раскинув в стороны руки, боцман шагнул к ним навстречу.— Ненароком паром перевернете!

«Значит, все-таки паром»,— огорчился я, потому что мысленно называл «Узбекистан» кораблем, и даже немного помечтал, воображая себя капитаном.

Пассажиры отхлынули от трапа и спустя мгновение стали подходить по двое и по трое, ведя заспанных ребятишек, озирающихся по сторонам. Все пассажиры — и женщины и мужчины — были обвешаны перекинутыми через плечи мешками, несли корзины, чемоданы, у некоторых оттягивали руки рундучки с выпуклыми крышками.

За бортом, припадая грудью к морю, летали чайки, оглашая воздух пронзительными криками. Зазевавшись на птиц, я упустил удобный момент и, когда обернулся, обнаружил: все пассажиры покинули «Узбекистан».

Боцман буравил меня глазами. «Плевать я на тебя хотел!» — подумал я и смело направился к трапу.

— Билет! — Боцман преградил мне путь и покосился на мои чуть потускневшие медали, которые я никогда не снимал.

— Нету! — с вызовом произнес я.

Вопреки ожиданию боцман не схватил меня за руку, не потащил в милицию.

— И вещей, выходит, нету?

— И вещей!

Не сводя с меня глаз, он спросил:

— Куда же ты, парень, путь держишь?

— А вам какое дело!

— Все катит и катит наш брат-фронтовик, все ищет чего-то,— миролюбиво произнес боцман.

«Значит, он тоже воевал».— И я неожиданно для себя поинтересовался:

— Давно демобилизовались?

— Скоро два года.— Засучив тельняшку, боцман показал шрам на руке.

Я сочувственно помолчал.

— Я тебя еще вчера приметил,— сообщил боцман.— Видел, как выворачивало тебя. Хотел к себе в каюту позвать, но тебя словно волной смыло, даже беспокоиться стал.

Я показал на открытый люк:

— Там спал.

— Понятно... Не задохнулся?

— Нет.

— В подсобке краской воняет — дышать нечем.

— Даже не почувствовал.

— Силен!

Я все еще держался настороже, все еще не доверял боцману, потому что за эти полгода часто встречал людей, про которых говорят: «Стелют мягко, да жестко спать».

— Куда ты все-таки путь держишь? — повторил боцман.

Я помедлил и сказал:

— В Ташкент.

— К кому-нибудь или просто так?

— Просто так.

— Предупредить хочу — ничего такого там нету: ни молочных рек, ни кисельных берегов. Жизнь везде одинаковая — трудноватая, одним словом... Я уже год на «Узбекистане» и насмотрелся на таких, как ты. Одни туда спешат, другие оттуда, а повсюду одно и то же... Хочешь верь, хочешь нет.

Боцман сказал то, о чем я часто думал сам, что уже давно стало для меня истиной.

— Отговаривать тебя сейчас — только время тратить,— продолжал боцман.— Но если совсем невмоготу станет — в Красноводск возвращайся и жди, когда мы с рейса придем. Вместе скумекаем что-нибудь. Матросом тебе нельзя — это я еще вчера понял, а в порту работенка найдется. Захочешь тут — в тот же день оформят, не понравится — в Баку место сыщем.

— Спасибо!

— Не за что,— проворчал боцман.

Красноводск мне не понравился — голо, жарко, уныло. Пока я был на «Узбекистане», жара не ощущалась — сказывалось влияние моря, а на берегу все — камни, песок, деревья — излучало тепло, которое не смогла выстудить холодная южная ночь. На сбегающих с бугров улицах никли деревья, покрытые густой пылью. Солнце по-прежнему скрывали облака, а над самым городом небо было блекло-голубым, словно застиранная ткань, казалось запыленным. Вглядевшись получше, я убедился: так оно и есть — над Красноводском недвижно висела пыль. Под бдительным оком петуха бродили куры, что-то склевывали, разгребая пахнущий солнцем песок. У водонапорных колонок было сухо, безлюдно. Захотелось пить, и я, подойдя к одной из колонок, нажал на рычаг, но из крана даже не капнуло. Прохожий объяснил мне, что вода подается строго по расписанию, что в Красноводск ее привозят танкеры и «Узбекистан», в трюмах которого имеются специальные резервуары. У тележек с газированной водой дремали продавщицы, в колбах, словно донорская кровь, застыл сироп — газированной воды тоже не было.

В голове гудело, во рту становилось все суше. Лизнув языком пересохшие губы, я спросил у одной из продавщиц, когда дадут воду.

— Скоро,— сонно откликнулась она.

— А точнее?

— Чего привязался? — рассердилась продавщица.— От жары мозги плавятся, а он пристает.

Солнце выбралось из облаков, на город хлынул поток яркого света.

Поднялся ветер. Он дул с востока, вначале был просто теплым, потом стал обжигающим. Продавщицы обвязали головы платками, закрыли носы, рты, уши — виднелись только глаза. Я то и дело подходил к водопроводным колонкам, нажимал на рычаг, но воды все не было. И как я обрадовался, когда из крана полилась тоненькая струйка — тепловатая, безвкусная, но все же вода!

Напившись, побрел на вокзал. Поезд на Ташкент отправлялся через час. Около кассы волновались пассажиры, плакали дети, визгливо кричала какая-то женщина, зажав в кулаке деньги. За полгода я наловчился ездить без билета и, когда началась посадка, воспользовавшись суматохой, прошмыгнул мимо проводницы в вагон. Расположился на самой верхней полке, куда обычно кладут вещи. Несмотря на жару, меня бил озноб. Голова раскалывалась, глаза застилал туман. Я решил, что заболел, и, гоня от себя плохие предчувствия, с тоской подумал: «Лишь бы до Ташкента добраться».

2

Меня сняли с поезда в Ашхабаде. Опустили на носилки и понесли куда-то. Я видел стриженый затылок дюжего санитара, жирную складку на его шее, небрежно завязанные тесемки на коротковатом халате. Решил, что снова в госпитале. Но два с половиной года назад меня несли не дюжие санитары, а пожилые нянечки. Я вспомнил, как вздувались вены на руках той, что шла позади, как устало она сказала: «Не елозь, солдат, за ради христа. Намаялись мы за день. Ты восемнадцатый, кого сегодня на этажи тащим...»

Тоскливо гудели маневровые тепловозы. Мимо носилок сновали люди, заглядывали мне в лицо. Я увидел медный колокол с торчащим из него куском веревки, жестяную полоску, на которой было написано: «Ашхабад».

«Нет, это не госпиталь»,— подумал я и впал в забытье... Очнулся ночью, на кровати. Панцирная сетка закачалась, когда я стал поправлять одеяло — не грубошерстное, как в госпитале, а байковое, мягкое, с тремя поперечными полосками. Над застекленной дверью горела синяя лампочка. В коридоре свет был обыкновенным: он слабо окрашивал простенькие занавески, закрывавшие стекло. Моя кровать стояла напротив двери. Слева было окно, занавешенное полотняной шторой, справа — накрытая салфеткой тумбочка. На ней мутновато белел поильник — чашечка с узким носиком. Из таких чашек в госпитале поили тяжелораненых — тех, кто не мог напиться сам. Пахло лекарствами.

Кроме меня, в палате находились еще три человека. Кровати с низкими никелированными спинками, тускло поблескивавшими в полутьме, стояли впритык.

Во рту было сухо. Приподнявшись, я взял чашечку. Она выскользнула из ослабевших пальцев, разбилась.

Лежащий наискосок от меня человек, откинув одеяло, приподнялся:

— Сестричка!

Послышалось постукивание каблучков, на занавеске возник женский силуэт, дверь распахнулась, щелкнул выключатель, залив палату светом, и перед моими глазами предстала прехорошенькая девушка в белой сестринской шапочке, судя по внешности, нерусская. То, что она прехорошенькая, я определил сразу, но разглядывать ее начал чуть позже, когда девушка, собрав черепки, улыбнулась мне. Глаза у нее были, как черносливины, руки маленькие, и сама она показалась мне маленькой, даже миниатюрной.

Продолжая улыбаться, девушка спросила:

— Вам лучше, больной?

Она нечетко выговаривала «л», слегка растягивала слова, получалось это у нее мило. Не понравилось лишь то, что девушка назвала меня «больной». В ответ я что-то пробормотал.

Я не умел скрывать своих чувств, часто говорил невпопад — то, что было на уме. Это, по мнению однополчан, вредило мне. Я старался скрывать мысли и чувства, но это не удавалось. Девушка, должно быть, поняла, что понравилась мне. Внезапно смутившись, произнесла:

— Сейчас вам укол сделаю!

Укол? Внутри у меня все напряглось. В госпиталях меня часто кололи и в руки и в мягкое место; я привык к уколам в ягодицу, спокойно переворачивался на живот, когда сестра приносила шприц. Но там были другие сестры. Теперь я не мог допустить этого. «Все, что угодно,— решил я,— только не укол!» Хотел спросить, куда меня будут колоть, но девушка вышла. Перевел обеспокоенный взгляд на соседа.

Это был дядька лет пятидесяти: худой, жилистый, с ввалившимися щеками, усмешливостью в глазах. В вырезе нательной рубахи виднелась костлявая грудь, покрытая рыжеватыми волосами, шрам, вдавленный в тело.

— Не бойсь! — сказал дядька.— Рука у нее легкая. Я четыре раза в госпиталях лежал, грех жаловаться на сестер и нянечек, но такую, как Алия Ашимова, впервой встречаю. Добрая, ласковая, взглянет — боль стихает.

— Вроде бы нерусская она,— пробормотал я, не переставая думать о предстоящем уколе.

— Угадал,— подтвердил дядька.— Персианка она — так тут азербайджанцев прозывают. В Ашхабаде на одного русского — четыре туркмена, два перса, один армянин. Имеются и прочие нации, но мало.

Я хотел спросить, дежурит ли в больнице еще какая-нибудь сестра, но в это время вошла Алия, держа иглой вверх наполненный шприц.

— Ложитесь, больной, на живот!

— Н-нет,— выдавил я.

Тонкие, будто наведенные углем, брови приподнялись, с кончика иглы сорвалась и упала капля.

— Позовите, пожалуйста, другую сестру.

— Глупости!

— Нет! Лучше выписывайте, но вам делать укол не позволю.

— Хорошо.— Алия вдруг покраснела и, стуча каблучками, вышла.

Я взглянул на соседа. Усмешливость в его глазах сменилась сочувствием.

— Эх, молодь, молодь...— произнес он.— Сам так же выламывался. Только давно это было — еще до революции. Попал я, понимаешь, в те года в лазарет. Фельдшер мне клистир прописал — животом я маялся. Приходит молодица лет двадцати трех, в руках стеклянная банка литра на полтора, к ней резиновая трубка присобачена. «Готовьтесь»,— говорит. «Как?» — спрашиваю: мне до той поры сроду клис-

тир не ставили, и не знал я, как это делается. «На бочок ложитесь,— отвечает молодица,— и кальсоны приспустите». А я уже с девками хороводил. Взглянул на молодицу — совестно стало. Закутался в одеяло, головой замотал. Молодица строгость на лицо напустила, мужики, с которыми я в палате лежал, заржали, как жеребцы. А я, знай дело, одеяло под себя подтыкал и головой крутил. Фельдшера кликнули. Волосатый такой был фельдшер, здоровенный, ровно бык. Спервоначала наорал он на меня. Потом, видать, смекнул, в чем загвоздка. Усмехнулся, велел молодице выйти с палаты и самолично мне клистир поставил. Вот так-то, вьюнош!

Через несколько минут появилась другая сестра — пожилая, с бородавкой на лице. Она сделала мне укол и удалилась, выключив свет.

— С хирургии,— сообщил сосед.— Фронтовичка.

— Вы тоже воевали?

— Тут, вьюнош, больше половины больных — бывшие фронтовики. У одних старые раны пооткрывались, у других — новая хворь.

— А у вас что?

— Осколок в груди — как раз возле сердца. Раньше три было. Два еще в госпитале вытащили, а этот, самый махонький, забоялись тревожить. Год и три месяца он тихо сидел, а теперь колет. До этого я в хирургии лежал, операцию делать собирались, а потом взяли и перевели сюда. Инвалидность сулят дать. Но на кой ляд она мне, инвалидность-то эта?

— Пенсию получать будете.

— Велика ли та пенсия, вьюнош? Только на хлеб да квас, которого тут отродясь не было. А человеку, окромя хлеба да кваса, много чего требуется.

«Лишь бы хлеба вдоволь было, на остальное — плевать»,— подумал я.

Сосед продолжал:

— Перед выпиской с госпиталя врачи совет дали — в теплые края уехать, где круглый год сухо. Вот я и прикатил сюда: один хороший человек подсказал — суше Ашхабада места нету.

— А раньше где жили?

— В самой середке России жил — в Орловской губернии, или, как теперь называют, области.

— А я москвич.

— Ну-у? А сюда зачем прикатил?

— Просто так.

— Понятно... Звать-то тебя как?

— Игорем.

— А по фамилии?

— Надеждин.

— Хорошая фамилия! А у меня одна срамота — Опенкин. И имя никудышное — Паисий. Полностью — Паисий Перфильевич. Отец сказывал: нашу породу попы не любили, такие имена давали, что язык вывертывается. Брат у меня был — Епифан, сестра — Евлампия. На фронте меня дядей Петей называли...

— Я вас тоже так буду называть, если разрешите.

— Спасибо, вьюнош!

Неторопливая речь дяди Пети, скупые жесты, застенчивая улыбка, доброжелательность и словоохотливость, то возникающая, то исчезающая грусть в глазах — все это нравилось мне. Такие люди не лезут вперед, на них часто не обращают внимания, потому что в их внешности нет ничего примечательного, и только по выражению глаз можно определить: они не так просты, как кажутся, умны от природы, а нехватку образования с лихвой окупает жизненный опыт, вместивший в себя и радость, и горе, и многое-многое другое, без чего немыслима жизнь.

Чувствовал я себя сносно, хотя и понимал — болен. Решил, что простудился на «Узбекистане», что у меня воспаление легких.

Дядя Петя затих. Показалось: спит. Но он неожиданно приподнялся, ткнул кулаком подушку.

— Не спится!

— И мне,— обрадовался я.

Дядя Петя перевел взгляд на безмятежно спящих соседей, которые за все это время даже на другой бок не перевернулись.

— Здоровы спать, черти! Я, бывает, кашлем захлебываюсь, дежурная сестра прибегает, а они хоть бы что. Видать, совесть у них спокойная.

«А у вас разве нет?» — хотел спросить я.

— Чувствую, что у тебя на языке.— Я определил по голосу, что дядя Петя усмехается.— Совесть, вьюнош,— самое главное в человеке, и она не должна быть спокойной, если у человека мозга варит. В жизни всякое случается. Иной раз не захочешь, а согрешишь, не захочешь, а обидишь кого ни то. После мучаешься, казнишься сам перед собой, как перед господом богом. Бога, конечно, нету, да и не нужен он, а без совести нельзя. Она для человека — свой бог... Тебе, небось, годов двадцать?

— Двадцать.

— Всего двадцать! А если оглянешься на прожитое, если копнешь поглубже в себе, то увидишь: и грешил и жил не всегда так, как положено.

Я мысленно вернулся в свое недавнее прошлое. Вспомнил крикливые, пахнущие подгнившими фруктами и пряностями южные базары, где я, пытаясь разбогатеть, вначале помогал каким-то прохвостам сбывать подороже разное барахло; потом, когда появились деньги, стал спекулировать сам, но быстро прогорел: не хватало выдержки, терпения, становилось противно, когда приходилось изворачиваться.

Я не был и примерным сыном: часто обманывал мать, вместо школы ходил в кино, все, что она говорила мне, чему учила, пропускал мимо ушей. Я считал: мать никуда не денется, в трудную минуту поможет, последним пожертвует ради меня. Так оно и было. Сколько раз на фронте я мысленно обращался к матери, сколько раз просил у нее прощения, сколько раз втихомолку плакал, накрывшись с головой шинелью, вспоминая, как грубил ей, как лгал!

— Молчишь? — Дядя Петя повысил голос.— А почему молчишь?

— Просто так.

— Не ври. Сказать, почему? Потому, что я не в бровь, а в глаз попал. Совесть, вьюнош, каждому человеку в наказание дадена, чтоб сомневаться. Если человек сомневаться перестанет, если все, что он делает, ему правильным покажется,— пропал такой человек!

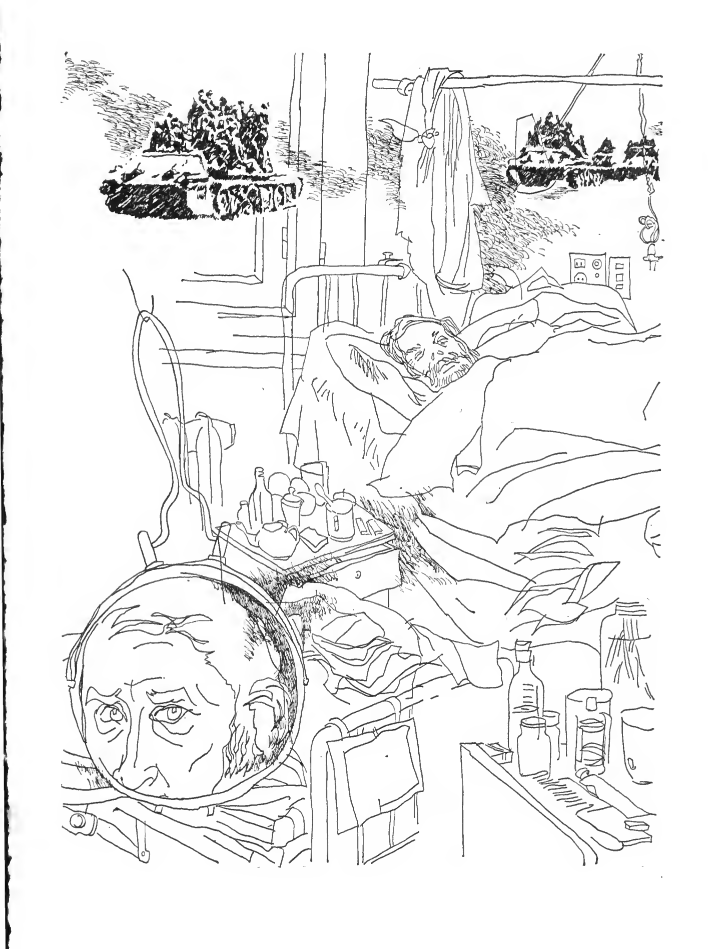
— Значит,— я кивнул на спящих,— они плохие люди?

Дядя Петя кашлянул.

— Я этого, вьюнош, не говорил. Я сказал, что совесть у них, должно быть, спокойная. А если без уверток, то не по нраву они мне. С утра до вечера стонут: то не так, и это не этак. На харчи жалуются, словно фон-бароны, будто к разносолам приучены. Хлебнут супу и рожу кривят, словно им не суп принесли, а бурду какую-то. Конечно, суп тут варят не ахти какой — жидковат, и навару мало... А вторые блюда хорошие — гуляш с вермишелью, котлеты с рисом, макароны вперемешку с фаршем. Компот на третье — как в госпитале, даже лучше, потому что фруктов в Ашхабаде вдоволь... Окромя харчей, они косточки знакомым и суседям перемывают — тем, кто после фронта на хорошие должности сел.

— Разве они тоже воевали?

— В том-то и беда, вьюнош! Тот, который ближе к тебе, танкистом был — Сайкин его фамилия, а другой, Козлов,— пехота.
— Я тоже в пехоте воевал.
— Ну-у? Выходит, ты наш брат — фронтовик?
— Два года оттрубил.
— И награждения имеешь?
— «Отвагу» и «За боевые заслуги».
— Ишь ты! А у меня, вьюнош, всего одна — «За Германию».
— Мне тоже такая полагается — не успел получить.
Дядя Петя завистливо помолчал.
— Когда мы вблизи границы оказались — это в Белоруссии было,— «языка» я привел. Комбат при всех «За отвагу» мне посулил. А на другой день меня ранило. С госпиталя «по чистой» вышел... Узнать бы, выправил мне комбат медаль или только так, слово кинул? Давно собираюсь проверить, да все недосуг.— Дядя Петя помолчал.— В госпитале, где я рану заживлял, на всю нашу палату один орден был. А в палате десять душ лежало... Тут, в Ашхабаде, павильончик есть, где вином торгуют. Возле него инвалиды войны собираются — каждый день одни и те же, человек двадцать. Кто без руки, кто без ноги, а четверо на тележках. И, поверишь ли, только пятеро из всей этой компании боевые награждения имеют. У остальных, как у меня, «За Германию». В первые-то года не шибко баловали.— Дядя Петя снова помолчал.— Интересуюсь: раненый ты был или обошлось?
— Ранение легкое получил — в предплечье, а контузия до сих пор беспокоит, голова часто болит и нервничаю по пустякам.
Дядя Петя кивнул:
— Контузия — самое поганое дело.
— У вас тоже была?
— Три с половиной месяца после нее в госпитале отдыхал. Окромя контузии, два ранения нажил. Первое быстро затянулось, а с другим не повезло — до сей поры маюсь.
Я посмотрел на Сайкина и Козлова, прислушался к их ровному, спокойному дыханию и сказал:
— Может, они правы. Кровь проливали, а взамен — шиш.
— По себе судишь? — тотчас откликнулся дядя Петя.— Ты покуда еще вьюнош, у тебя голова разной дурью набита, а они уже в летах — соображать должны. Как понял я по их разговорам, никто не обижал их, никто не кидал каменья под ноги. Сайкин до войны шофером был — теперь обратно баранку крутит; Козлов на шелкомотальной фабрике, как и раньше, мастером.
— Чего же они хотят тогда?
— Видать, того, про что в поговорке сказано: рыба ищет, где глубже, человек — где лучше.
Совсем недавно я рассуждал так же. Да и сейчас не видел в этом ничего предосудительного. Но возражать не стал — понял, дядя Петя не согласится,— перевел разговор:
— Давно вы в Ашхабаде?
— Скоро полтора года.
— Семья тоже с вами?
Дядя Петя ответил не сразу. Повозился на кровати, поправил подушку, зачем-то переставил с места на место стакан, потом сказал дрогнувшим голосом:
— Нету у меня, вьюнош, никого. Один, как перст, остался. Жену и дочку крупным калибром накрыло, прямо в хате, сестру в Неметчину угнали — ни слуху ни духу о ней, брат под Москвой погиб, а сына Колю восьмого мая убили — аккурат перед самой Победой. Когда по радио о капитуляции объявили, я душой возликовал, сразу написал сыну — до скорой встречи, мол. А через двенадцать ден — похоронка... После госпиталя в свою деревню приехал, хотел жене и дочке поклониться, но там даже ихних могилок нету. На месте хаты — бурьян да развалленная печь. Люди в земле жили, как кроты. Правление колхоза тоже в землянке находилось... Не остался я там: сердце ныло. А теперь вот истопником заделался. В общежитии пединститута кочегарю. Летом котельную ремонтирую, саксаул и уголь запасаю. Как похолодает, горячую воду гнать начинаю. Каждый день титан топлю, чтоб студенты чайком могли побаловаться. По совместительству — сторож. Только сторожить-то в общежитии нечего. Койки да столы не утащат, а в чемоданах да рундучках у ребят и барышень — пересменка белья да книжки. Бедно живут, но к учению тянутся. Это мне по нраву.
— Фронтовики среди них есть?
— Два парня и молодица.
Если бы у меня был аттестат, то я обязательно поступил бы в институт. Но закончить десятилетку не удалось. В восьмом и девятом учился во время войны, в школу приходил после работы, усталый. Сидя в нетопленном классе, клевал носом, почти не слушал учителей. В десятый не пошел — ждал повестку из военкомата.
Всего три с половиной года прошло с той поры, а мне кажется — вечность. Сколько пережито за эти годы, сколько увидено! Сколько раз, когда в мгновенно наступившей тишине раздавался все нарастающий лязг гусениц и из цеплявшегося за пни и болотные кочки тумана появлялись танки с черными крестами на броне, сколько раз тогда я мысленно прощался с жизнью, сколько душевных и физических сил отдал, чтобы не рассолливиться, не кинуться прочь. Пригибал голову, когда мимо проносилась пуля, но продолжал стрелять, вставляя в карабин обойму за обоймой...
Полтора года прошло с того дня, когда отгремел последний бой, в котором участвовал я. Этот бой до сих пор снится мне, и, проснувшись, я долго-долго лежу с открытыми глазами, соображая, когда это было — только что или восемнадцать месяцев назад. Тот бой продолжался два дня подряд. И днем и ночью бросались на нас немцы, хотели прорваться, но мы не пропустили. Помню лица пленных, вижу их мундиры со следами порохового дыма, грязь на бинтах и никогда не забуду их глаза — потухшие у одних, а у других озлобленные. С теми, у кого в глазах была озлобленность, хотелось «потолковать». Не боюсь признаться в этом — в последнем бою мы многих потеряли. А меня пуля помиловала. Значит, жить буду долго и счастливо, подумал я в тот день. А что получилось? Разве это счастье — жить впроголодь, мотаться из города в город? Сам, конечно, виноват, все понимаю, но «стать на якорь» не могу: нет в душе покоя, уверенности.
— Давай спать, вьюнош,— нарушил молчание дядя Петя.
— Давайте,— вяло откликнулся я.
Я натянул одеяло и стал вспоминать лицо Алии, так не похожее на лица женщин, которых я встречал раньше. Мечтать было легко: не требовалось ни душевного напряжения, ни физических сил. Стоило лишь расслабиться, отключиться, и перед глазами начинали возникать картины, которые ничем не напоминали реальность,— пропахшие махоркой вагоны, толчею на станциях, умопомрачительные цены на базарах...



3

Я не ошибся — у меня оказалось воспаление легких. Через несколько дней разрешили вставать: видимо, подействовали порошки и микстуры. И, конечно, уколы.

Дом, в котором находилась больница, был старой постройки — с коридорами и тупичками, не имеющими окон. Туда выходили топки печей, покрытых белыми изразцами. Дядя Петя часто прикладывал к ним руку и сокрушался:

— Зима на носу, а у меня уголь недополучен и саксаула всего четыре кубометра — только на титан.

Ходил он медленно, приволакивая правую ногу. Каждый день просился на выписку, объяснял врачам, что у него разных дел невпроворот, но они почему-то медлили. Отойдя к окну, подолгу разглядывали рентгеновские снимки, ощупывали его грудь, спину и беспрерывно спрашивали:

— Больно?.. А тут?..

Дядя Петя неизменно отвечал:

— Чувствительно.

Мне тоже надоело в больнице, но я не торопил врачей: ибо пока не решил, что делать после выписки,— ехать в Ташкент или остаться в Ашхабаде; и — это, пожалуй, было самым главным — еще раз хотелось увидать Алию: я уверял себя, что влюбился в нее по-настоящему. Во время смены дежурства слонялся по коридорам и тупичкам, надеясь встретиться с ней, но каждый раз приходили другие сестры. Я не выдержал и спросил дядю Петю, почему до сих пор нет Ашимовой.

— Она раз в неделю дежурит,— ответил он,— с воскресенья на понедельник. Отсюда прямо в институт бежит — на врача учится.

Я стал вспоминать, какой сегодня день, и дядя Петя, усмехнувшись по обыкновению, сказал:

— С утра суббота была. Завтра жди.— Вздохнул и добавил: — Ничего у тебя не получится — жених у нее есть. Сам его видел: ладный парень, ихней же нации, с усами, старший лейтенант. Она, слышал, еще в детстве с ним обручена. У магометян с этим делом строго. Потому совет мой: не мозоль ей глаза и себя понапрасну не мучь.

Это сообщение раззадорило меня еще больше, но я решил скрыть свои чувства и, вильнув глазами, сказал, что Алия меня ни капельки не интересует.

— Соврал! — Дядя Петя снова усмехнулся, провел рукой по волосам, покрутил на пижаме пуговицу.— Что ж я, по-твоему, дурак? Шестой день за тобой наблюдаю и вижу, как ты шею тянешь, когда дверь отворяется. Увидишь, что не она, и вянешь, как лист осенью.

За шесть дней я привык к дяде Пете. Пока мне не разрешали вставать, он почти все время проводил в палате, оберегая меня от назойливых расспросов Сайкина и Козлова — людей действительно неприятных, занятых пересудами, от которых разламывалась голова. Несколько раз я собирался нагрубить им, но дядя Петя останавливал меня взглядом.

Козлов и Сайкин держались все время вместе. И были похожи друг на друга — коренастые, с широкими скулами, выдвинутыми подбородками. Только волосы у Сайкина были русые, а у Козлова черные, с проседью. Часто вспоминали военные годы, утверждали, что согласились бы воевать всю жизнь — лишь бы не убило и не ранило бы.

— Я пять посылок с фронта отправил,— хвастал Козлов.

— А у меня промашка вышла,— уныло отзывался Сайкин.— Послал я, понимаешь, мыло, золотые вещицы в него вдавил — колечки и прочую ценность, а жена, дура, взяла и снесла мыло на базар. Не поняла, чертова кукла, намека, который я в письме сделал. А в открытую написать побоялся — цензура.

— Поделом тебе! — не выдержал дядя Петя.

— Брось прикидываться, старый! — вспылил Сайкин.— Сам, небось, трофеями «сидор» набивал, а теперь недоумка из себя корчишь.

— За всю войну два трофея добыл,— спокойно сказал дядя Петя.— Вот эту бритву,— он достал из тумбочки отделанную перламутром бритву,— да зажигалку. И ту на базар снес, когда врачи курить отсоветовали.

— Врешь! — не поверил Сайкин.

— Чего мне врать-то? — откликнулся дядя Петя.— Ты не замполит, а я уже не солдат.

— Ну и дурак, коли так.

Козлов молча кивнул.

...Узнав о скором появлении Алии, я разволновался, стал готовиться к встрече с ней: зашил дырку на халате, вымыл под краном тапочки из клеенки, пожалел, что нет гуталина и сапожной щетки — хотелось надраить тапочки, как драил раньше сапоги.

Посмеиваясь, дядя Петя наблюдал за мной. Порывался сказать что-то и наконец посоветовал:

— Лучше волосья постриги — оброс, будто дьячок.

— Денег нет,— признался я.

— У меня займи. Останешься в Ашхабаде — отдашь, а нет — невелики деньги полтина.

Парикмахер — добродушный старичок на деревянной ноге, с облезлым чемоданчиком в руке — приходил в нашу палату два раза в неделю. Открыв дверь, спрашивал с порога: «Стричься-бриться будем?»

Сайкин и Козлов брились сами — у них были трофейные бритвы,— а дядя Петя, хотя и имел такую же, молча кивал парикмахеру и так же молча усаживался на стул, заткнув за ворот пижамы полотенце.

Старичок парикмахер был большим говоруном. Разводя мыло в алюминиевой чашечке с помятыми боками, он сообщал городские новости, по-своему комментировал их. Чувствовалось, ему хочется поговорить, и дядя Петя не перебивал его. Но когда, намылив щеки и подбородок, старичок начинал править бритву, дядя Петя просил, косясь на нее глазом:

— Поаккуратней брей, дед. Прошлый раз три пореза сделал.

— В прошлый раз рука дрожала,— оправдывался парикмахер.

— Лишку выпил?

Старичок конфузился. От него всегда попахивало сивухой. Маленький красный нос, похожий на свеколку, подтверждал: парикмахер любит выпить.

«Алкаш»,— сказал про него Козлов. «Слабый он,— возразил дядя Петя.— Один живет, как я».

Заняв у дяди Пети пятьдесят копеек, я рванулся к парикмахеру, когда тот появился на пороге:

— Стричься будем, дед!

Старичок отпрянул. С опаской поглядывая на меня, бочком втиснулся в палату, стуча деревянной ногой.

— Постриги его покрасивше,— попросил дядя Петя.

— Исполню.— Старичок кивнул.

Постриг он меня хорошо. Я то и дело выбегал в туалет, где над жестяной раковиной висело потускневшее зеркало...

За полчаса до смены дежурства вышел в коридор. Сел на старый, продавленный диван, обитый потертым, потрескавшимся дерматином. Этот диван до-

живал свой век в одном из коридоров, откуда хорошо были видны настенные часы с массивным маятником, входная дверь и столик сестер. Ночью, когда в отделении становилось спокойно, на диване дремали сестры. Дерматин сохранял едва ощутимый запах духов. Пружины были слабыми: сев, я глубоко провалился, лицо находилось на уровне колен. Я откидывался на спинку, облокачивался на валик — все равно сидеть было неудобно. Решил походить по коридору, сделал несколько шагов и увидел Алию. Еще утром я представлял себе, как мы встретимся, что я скажу ей, а теперь растерялся.

Алия была в нарядном платье — красные гвоздики на белом фоне. Густые, пышные волосы падали ей на плечи, и я пытался сообразить, как она уместит их под сестринской шапочкой.

— Добрый вечер,— сказала она.

— Добрый вечер,— спохватился я.

— Вот уж не думала, что вы так быстро поправитесь.— Алия улыбнулась.

Ее улыбка возвратила мне смелость, и я сказал, что она, Алия, мне очень понравилась.

— Правда?

Поговорить нам не дал Сайкин: встал на самом видном месте — ни вперед, ни назад. Хотелось крикнуть ему: «Проваливай!» — но я стеснялся Алии. Она тоже заметила Сайкина, направилась в кабинет, где переодевались врачи и сестры. Я проводил ее долгим взглядом и одновременно с Сайкиным вошел в палату.

Подмигнув Козлову, он сказал:

— Москвич-то, Вань, в Алимову втюрился.

— Ну-у?

— Только что на мозги ей капал.

Козлов повернулся ко мне.

— Котелок у тебя, парень, не варит. Если персы узнают, что ты на нее виды имеешь,— не жить тебе, помяни мое слово.

— Факт,— подтвердил Сайкин.

Дядя Петя сбросил на пол худые ноги в коротковатых кальсонах с завязочками, схватил пижамные брюки, попрыгал на одной ноге, не попадая в штанину.

— Чего пристали к человеку? Вьюнош прост-таки поздоровался с ней, а вы страх на него нагоняете.

Сайкин ухмыльнулся.

— Баб и девок хлебом не корми — дай им приятные слова послушать. Я перед женой, когда на выпивку деньги нужны, как дым расстилаюсь и не хуже соловья пою. Она, дура, уши развесит, а я...

— Сволочь ты! — не сдержался я.

— Что-о?

— Цыц, сукины дети! — гаркнул на всю палату дядя Петя.

Стало тихо. Потом Сайкин обрушился на дядю Петю:

— Раскомандовался, хрен старый! Ты кто такой, чтоб командовать, а? Я на погонах по три лычки носил, а у тебя ни одной не было!

Козлов, сочувствуя Сайкину, все же посоветовал не связываться, сказал, что дядю Петю уважает главврач, что он старику поверит, а не им. Сайкин вполголоса выругался. Поманив Козлова пальцем, вышел вместе с ним.

— Горяч ты больно,— обратился ко мне дядя Петя.— Я же объяснял тебе — ушибленные они. Что-то спортилось в них. Машины, и те ломаются, а люди и подавно...

После отбоя, когда Сайкин и Козлов заснули, я надел халат, подцепил босыми ногами шлепанцы и направился к двери.

Алия сидела за столиком, спиной ко мне. Свет от настольной лампы падал на раскрытую «историю болезни». Матовый колпак равномерно рассеивал его, создавая располагавший к задушевной беседе полумрак.

Я смотрел на Алию до тех пор, пока она не обернулась.

— Можно посидеть с вами? — храбро спросил я.

— Пожалуйста.— Алия показала на свободный стул.

Я сел и тотчас начал говорить. Понимал — получалось складно. Я ничего не приукрашивал, хотя и не рассказывал подробно о том, что было в моем недалеком прошлом. Чутье подсказало: мои похождения насторожат Алию. Потом я вспомнил фронт. Возникли лица однополчан, бои, в которых я участвовал и после которых наступали минуты прощания с теми, кто недавно тоже мечтал о будущем. Ощутил неприятный холодок и мгновение спустя — буйную радость оттого, что я вопреки всему живой!

На краю стола лежала какая-то книга.

— Можно посмотреть?

Алия кивнула.

«Александр Блок. Избранное» — увидел я и прочитал на память:

Твое лицо мне так знакомо,
Как будто ты жила со мной.
В гостях, на улице и дома
Я вижу тонкий профиль твой.
Твои шаги звенят за мною,
Куда я не войду, ты там.
Не ты ли легкою стопою
За мною ходишь по ночам?

— Вы любите Блока? — оживилась Алия, когда я дочитал стихотворение до конца.

— Очень! Но Маяковского больше. Это мой любимый поэт.

Алия кинула на меня быстрый взгляд.

— Между прочим, вы немножко похожи на Маяковского.

Я воспринял это без удивления. О том, что я похож на Маяковского, мне уже говорили: на фронте — командир нашего взвода лейтенант Метелкин, бывший преподаватель литературы; в госпитале — молоденькая медсестра.

— Прочитать вам Маяковского?

— Только вполголоса.

Я продекламировал «Тамару и Демона». Это прекрасное стихотворение я несколько раз читал в госпитале на концертах художественной самодеятельности, и всегда с успехом. Слова: «Ну что тебе Демон? Фантазия! Дух! К тому ж староват — мифология»,— произнес с особой выразительностью — вспомнил вдруг о старшем лейтенанте с усами.

— Моя сестра тоже любит Маяковского,— сообщила Алия, когда я кончил читать.

— Значит, у вас есть сестра? А еще кто у вас есть? — Старший лейтенант застрял в мозгу, как заноза в пальце.

— Мама.

— А отец?

— Умер, еще до войны.

Я помолчал.

— И больше никого нет?

— Почему? Дядя есть, тетя, двоюродные братья...

— И еще жених, он старший лейтенант и носит усы! — воскликнул я.

Алия вскинула голову. Прядь выбилась из-под шапочки, глаза стали сердитыми, румянец на щеках погустел, на лбу появились морщинки.

— А еще что сообщили вам наши няни и сестры?

— Это не они.

— Женщины в этой больнице, как повсюду!

— Это не они,— повторил я.

Не хотелось обижать Алию, но я не собирался выдавать дядю Петю. Он сообщил о существовании старшего лейтенанта из самых добрых побуждений.

Алия убрала волосы под шапочку.
— Этот человек не ошибся. Только...
Жених не нравится ей, вдруг решил я. Как всегда, меня выдало лицо.
— Чему вы улыбаетесь? — строго спросила Алия.
— Жених не нравится вам!
— Почему?
— Мне так кажется.
— Людям очень часто кажется не то, что на самом деле!
Сразу стало грустно. Алия заметила это, рассмеялась, попросила рассказать о Москве.
Вначале я вытягивал из себя слова, потом разошелся. Говорил о том, о чем рассказывал однополчанам: о Красной площади, о Большом театре, куда до войны меня часто водила мать. Вспомнил первые годы войны — огромный цех, наполненный гулом станков, где я был разнорабочим, школу, которую так и не удалось окончить. Вспомнил уроки литературы, сочинения, которые писал. Мои сочинения хвалила преподавательница, часто зачитывала их перед классом. И добавляла: «За содержание — отлично с плюсом, за грамотность — посредственно». Я с детства любил книги, много читал. После отца — он умер, когда мне было четыре года,— осталась приличная библиотека, составленная из произведений русской классики. Книги заставляли улыбаться, страдать, они открывали мне людей, в которых я верил, но которых не встречал в жизни. Впрочем, это не совсем так. Герасим из рассказа «Муму» напоминал мне нашего соседа — немого старика, кормившего всех бездомных собак, а фальшиво-ласковую спекулянтку с первого этажа я сравнивал с Аленой Ивановной из «Преступления и наказания».
Во время коротких передышек между боями лейтенант Метелкин подзывал меня, и мы толковали о литературе. Очень часто мы расходились в оценках и мнениях, но каждому из нас эти беседы были необходимы: они возвращали и меня и Метелкина в нашу прежнюю, довоенную жизнь, которая всегда оставалась в памяти и к которой мы тянулись сердцами...
— Вы хотели бы поступить в институт? — неожиданно спросила Алия.
— Разумеется! Только не примут меня без аттестата, я ведь не учился в десятом.
— Мой двоюродный дядя — директор Ашхабадского пединститута. Я могу поговорить с ним.
Я мысленно увидел себя студентом. Вспомнил, что Алия тоже учится, и сказал:
— Вы, я слышал, будущий врач?
— И это сообщили?
Незаметно мы перешли на «ты». Кто первый произнес это слово, не помню. Вначале мы смущались, когда выскакивало «ты», извинялись друг перед другом, потом освоились.
Мы договорились, что после выписки я пойду прямо к директору пединститута.
Хотел назначить ей свидание. Раньше я делал это уверенно, никогда не сомневался в успехе. А теперь вдруг оробел. Тихо спросил:
— Где и когда мы встретимся?
— Нигде и никогда,— так же тихо ответила Алия.
Я не поверил.
— Нам не нужно встречаться,— добавила она.— Это ни к чему не приведет.

4

Принят был я в институт до обидного быстро. Директор — молчаливый, малоподвижный азербайджанец с орлиным носом — попросил написать заявление и, не читая его, начертил на уголке: «Зачислить на литфак». В отделе кадров я заполнил анкету, настрочил автобиографию, уместившуюся на одной стороне тетрадного листа, получил продуктовые и промтоварные карточки и направился в общежитие.
Комната была большая, квадратная, с двумя окнами. Слева от окон — через несколько сотен метров — начинался город, справа и прямо простиралось однообразно-унылое плато, изрезанное арыками. Вода поступала с окутанных туманной дымкой гор. Прежде чем попасть в город, она пробегала под палящим солнцем не один десяток километров, но оставалась такой же холодной, как и родившие ее ледники. Когда, нагнувшись, я стал пить эту воду, то от холода свело скулы. Два глотка освежили меня, усталость сняло, как рукой, и я подумал тогда, что, должно быть, вода эта целебная.
И вот сейчас, стоя посреди комнаты под обстрелом трех пар глаз, я вспоминал воду из арыка — от волнения снова пересохло во рту.
Обещав принести попозже постельное белье, кастелянша привела меня в комнату на первом этаже и оставила один на один с тремя парнями, самому старшему из которых было на вид лет двадцать пять. В хромовых сапогах с чуть приспущенными голенищами, в синих галифе, в суконной гимнастерке, опоясанной потертым командирским ремнем, он производил впечатление самостоятельного, решительного человека. На его выгоревшей гимнастерке виднелись маленькие дырочки, обметанные мелкими стежками, и темные, похожие на заплаты пятна — следы орденов. Бывший офицер, решил я. И не ошибся. Два других парня называли этого человека то лейтенантом, то Николаем, то обращались к нему по фамилии. «Самарин»,— запомнил я.
Второй, Волков, был моложе Самарина года на четыре, и тоже в обмундировании, но только в хлопчатобумажном, какое выдавалось солдатам и младшему комсоставу. На груди у этого парня позвякивали две «Славы» второй и третьей степени и медаль «За победу над Германией».
Третий обитатель комнаты выглядел моложе всех, в том числе и меня,— это сразу бросилось в глаза. Он то и дело снимал пальцами невидимые пушинки с коротковатого пиджака и лоснящихся брюк. «Пижон»,— подумал я. Самарин и Волков называли его Гермесом, и я никак не мог понять — имя это или прозвище.
По внешности и манерам парни резко отличались друг от друга. У бывшего лейтенанта были светлые волосы, помятое, словно после тяжелой болезни, лицо. Говорил Самарин мало, но уж если вставлял слово, то всегда к месту. Он понравился мне своей сдержанностью. Чувствовалось, что бывший лейтенант многое пережил, передумал.
Волков не лез за словом в карман, часто употреблял крепкие выражения, привычные для солдатского уха, но вряд ли уместные тут, в общежитии пединститута. Был он черноволосый, с аккуратной челочкой на выпуклом лбу, с дерзким взглядом, крупными, но реденькими оспинками на лице.
У Гермеса сквозь смуглоту азиатского лица проступал юношеский румянец.
Бросая на меня взгляды (Самарин только косился, Волков посматривал с нагловатой бесцеремонностью, Гермес изучал украдкой), парни продолжали прерванный моим появлением разговор. Я не понимал, о чем идет речь, и не старался понять, потому что сильно волновался, никак не мог поверить, что я — студент. Потом Волков спросил:
— Нашего полку прибыло?
Я кивнул. Волков перевел взгляд на Самарина, произнес с грубоватым смешком:



— Фронтовик, а устава не знает. Гаркни-ка на него, лейтенант, чтоб доложился, как положено!

— Перестань.— Самарин поморщился. Повернувшись ко мне, попросил: — Расскажи, если не секрет, кто ты и откуда.

Я рассказал. Ничего не утаил, только чуточку смягчил наиболее неприглядные обстоятельства моей жизни за последние полгода. Моя откровенность Самарину понравилась.

— Теперь и познакомиться можно.— Он протянул мне руку. Она оказалась тяжелой, будто отлитой из свинца, хотя бывший лейтенант был среднего роста, даже ниже.

Волков назвал себя и добавил:

— Для хороших людей я просто Мишка. Но им,— он кивнул на Самарина и Гермеса,—мое имя почему-то не нравится.

— Фамилия тебе больше подходит,— заметил Самарин.

Пожимая мне руку, Гермес торопливо объяснил:

— Мой папочка в греческую мифологию влюблен, поэтому и выбрал мне такое имя. А фамилия моя Дурдыев, я наполовину русский, наполовину туркмен.

— Отец у него туркмен,— уточнил Волков.

— Да, да,— по-прежнему торопливо произнес Гермес.— Он пятнадцать лет в Краснодаре жил, там и женился. А сейчас в Чарджоу работает.

— Большой начальник! — сказал Волков.

— Не такой уж большой,— возразил Гермес.— Всего-навсего управляющий трестом.

— В переводе на армейскую должность — это командир полка,— сообщил Волков.

Гермес улыбнулся, явно довольный таким сравнением.

— Официальная часть окончена! — Волков по-свойски подмигнул мне.— Признавайся, жрать хочешь?

Я хотел сказать «нет», но сказал «да».

— Солдат всегда солдат! — провозгласил Волков и стал собирать на стол.

Кроме круглого стола с намертво прилепившимися к его поверхности газетными лоскутками, в комнате было четыре стула, одна табуретка и пять кроватей; две заправлены так, что самый въедливый старшина не придерется, а на третьей (около нее стоял раскрытый чемодан) валялась разбросанная одежда. На остальных кроватях ничего не было — даже матрацев. Грубо сваренные, уложенные крест-накрест металлические полосы, тронутые ржавчиной, напоминали решетку на окнах «губы», где мне пришлось в самом начале службы отсидеть пять суток за нарушение дисциплины. Около двери стояла обшарпанная тумбочка — одна на всех. На подоконнике лежала стопка пожелтевших газет с маленькими дырочками на углах. Занавесок не было, и я понял, что на ночь окна закрываются самым простым способом — этими газетами. Возле тумбочки хлопотал Волков.

— У тебя, как я скумекал, ни «сидора», ни чемодана? — обратился он ко мне.

Я смутился. Самарин негромко сказал:

— Перестань.

— Чего перестань? — огрызнулся Волков.— Выбрали старшиной — слушайтесь. Я ведь не просто так спросил, а сообразить хочу, что и как.

Мне стало неловко. И тут я вспомнил о продуктовых карточках, торопливо выложил их на стол:

— За сегодняшний день хлеб еще не получен!

— Получим,— сказал Волков.

Самарин покосился на тумбочку.

— У нас осталось... это самое?

— А то как же! — откликнулся Волков.— Каждому граммов по семьдесят достанется.

— Я пить не буду,— поспешно произнес Гермес.

— Выпей,— посоветовал Волков.— Девушкам нравится, когда от парней табаком и вином пахнет.

Гермес опаздывал на первое в своей жизни свидание с одной симпатичной туркменочкой, как чуть позже объяснил мне Волков. Пить он отказался. Побросал в чемодан одежду, задвинул его под кровать, кое-как поправил постель и умчался.

Мы остались втроем. Волков принес помидоры, нарезал хлеб, плеснул в кружки.

— Учти,— предупредил меня,— чистый спирт.

Я сразу захмелел. У Самарина и Волкова порозовели лица. Война еще была свежа в памяти, и мы, одурманенные вином, стали вспоминать фронт. Больше всех говорил Волков, рассказывал он только смешное; а перед моими глазами почему-то вставало самое мрачное. Самарин помалкивал. Потом вдруг с горечью произнес:

— Завидую вам, ребята,— с наградами вы. А у меня ни одной!

Я удивился. Самарин кашлянул, расстегнул ворот.

— После Победы это случилось. Нашкодил мой солдат с одной фрау — на всю дивизию опозорил. Его — под трибунал, а меня лишили всех наград и в запас.

— Ты никогда не рассказывал об этом! — воскликнул Волков.

— А теперь вот решил.— Самарин повозил вилкой по опустевшей тарелке.

— Гляжу,— продолжал Волков,— дырочки на гимнастерке есть, а орденов не носишь. Все хотел спросить, почему, да не решался.

Мне не терпелось узнать, какие награды были у Самарина, и я, не скрывая любопытства, спросил.

— «Александра Невского»...— начал перечислять он.

— Ого! — Волков округлил глаза.

— ...«Звездочка», — продолжал Самарин, —«Отечественная» с серебряными лучами...— «Второй степени»,— отметил про себя я,—...и две медали.

— За города? — поинтересовался Волков.

— Боевые. За города не в счет.

— Отхватил! — с уважением произнес Волков.— Чего же в лейтенантах держали? Запросто могли бы еще по две звездочки на погоны шлепнуть.

Самарин усмехнулся.

— Недолюбливало меня начальство.

— Однако ж награждали,—сказал я.

— Приходилось.— Самарин потрогал дырочки на гимнастерке, поморщился.— Мою роту всегда в прорыв бросали.

— Несправедливо с тобой поступили,— посочувствовал я, хотя полной уверенности, что это так, у меня не было: за недостойное поведение наказывали строго и, если «отличался» солдат, то, как правило, попадало и командиру.

— Несправедливо,— откликнулся Волков.

Я посоветовал Самарину жаловаться.

Волков покачал головой:

— Вряд ли поможет.— Он схватил фляжку, вытряхнул из нее остатки — несколько капель,— выругался.— Кончились, братва, те денечки, когда женщины и девушки нас с цветочками встречали и, как сказал кто-то, «в воздух чепчики бросали»! Меняются люди — даже фронтовики. Было у меня четыре друга, тоже сержанты. Перед демобилизацией мы, как водится, адресами обменялись, пообещали писать и в гости ездить. Письма сочинять я не мастак. Они, видать, тоже. После армии я почти год работал и в десятый класс ходил, чтобы освежить в памяти все, что подзабылось. Вспомнил и алгебру,

и геометрию; решил на физмат поступить. В нашем городе — ни одного института. Собрался в Ашхабад — никогда в Средней Азии не был, а хотелось. По дороге надумал дружков-сержантов навестить. Приехал к одному. Живет, как царь. За год брюшко отрастил. Сели мы за стол. Интересуюсь: «Где работаешь? Что делаешь?» Вижу — жмется. А когда в бутылках ни капли не осталось, он признался, что спекулирует: купит за пятерку, перепродаст за червонец. Стал я его совестить, разругался с ним — и на вокзал. К другому приехал. Общая квартира: кроме него, еще три семьи. Жена. Младенец в качке. Комнатенка маленькая. Выставил он угощение. Я привык громко говорить и обо всем, что не нравится мне, открыто. Он на дверь косится и палец к губам жмет: тише, мол. Чего спрашиваю, боишься? Оказалось, живет в их квартире какой-то мерзавец, под дверью подслушивает. Я вызвался с ним потолковать. Друг мне на грудь кинулся: «Погубишь!» На фронте он даже пулям не кланялся, а мерзавца испугался... К двум другим я не поехал — хочу сохранить их в памяти, какими они на фронте были.— Волков помолчал.— Мне про одного хмыря рассказывали, который даже жене в постели речи толкает и лозунгами говорит.

Самарин улыбнулся.

— Кто рассказывал? Жена?

— Неважно кто.— Волков не стал вдаваться в подробности.— Но больше всего, братва, меня бесит, что фронтовикам сейчас очень мало привилегий. Месяца три назад — это еще дома было — позарез понадобилась мне справка. Пошел в домоуправление. Открываю дверь — деятель сидит: ряшка — во, пузо — тоже. Так, мол, и так, говорю, справка нужна. Он, собака, даже глаза не поднял: «Завтра зайдите». Начал я права качать. Деятель надулся, как индюк: «Я, дорогой товарищ, между прочим тоже воевал». Понял — врет. А как докажешь, когда на нем китель с дырочками для орденов, на толкучке, видать, купил, сволочь. Потребовал я у него военный билет — поозоровать решил. Он милиционера кликнул — как раз рядом пост находился. Постовой фронтовиком оказался — даже внушения мне не сделал. Вышел я и услышал, как тот деятель стал разоряться. На милиционера кричал. На фронтовика!

— Фронтовики фронтовикам рознь,— сказал Самарин.

— Верно,— легко согласился Волков.— И пьяницы среди нас водятся и попрошайки. Но сами посудите, братва, что человеку делать, если вместо ног у него тележка на подшипниках, а пенсия с гулькин нос?

Самарин усмехнулся:

— Дядю Петю вспомни.

— Паисия Перфильевича? — воскликнул я.

Бывший лейтенант нахмурился.

— Никогда не называй его так.

— Знаю! Я в больнице с ним познакомился — в одной палате лежали.

Волков перевел взгляд на Самарина:

— Продолжай, лейтенант.

Тот задумался. Его глаза потеплели, складки на лице разгладились.

— Дядя Петя весь израненный — еле-еле душа в теле. Однако ж не попрошайничает и не напивается до омерзения, хотя это дело,— Самарин щелкнул себя по шее,— любит не меньше нас.

— Дядя Петя — человек,— задумчиво произнес Волков.— И ты, лейтенант, человек! Я хоть и не воевал с тобой, но представляю, как тебя братва уважала.

Самарин пробормотал:

— А свинью подложили.

— В семье не без урода,— возразил Волков. Посмотрев в окно, воскликнул: — А вон и Варька!

Я тоже посмотрел в окно. По дороге, обложенной кирпичиками, вышагивал с важным видом парень с бабьим лицом. На нем была парусиновая блуза, застегнутая на все пуговицы. Жесткий воротник вдавливался в жирный подбородок.

— Он и есть Варька,— пояснил Волков.

— Прозвище? — поинтересовался я.

— Конечно. По анкете этот гражданин Владлен или Вадик, как он сам себя называет. Варькой мы его окрестили.

— Ты,— уточнил Самарин.

— Я,— охотно подтвердил Волков.

Стремясь разглядеть парня получше, я подошел к окну. Самарин и Волков встали рядом. Парень увидел нас, помахал рукой, направился к нам.

— Сейчас отведу душу.— Волков оживился.

— Не связывайся,— посоветовал Самарин.

— Извини, лейтенант, не могу! Как увижу этого типа, язык чешется.

— Хорошо, что не руки.

— Руки тоже! — Волков сунул их в карманы.

Подойдя к нам, парень кинул на меня взгляд:

— Новенький?

— Старенький, Владлен, старенький, — ответил Волков.— Огни и медные трубы прошел, как и мы... Еще вопросы будут?

Нижняя губа у парня оттопырилась.

— Чего ты все время хамишь мне, Волков?

— Тебе мерещится, дорогой мой, что я хамлю,— не скрывая насмешки, произнес Волков.

— Я уважаю фронтовиков,— сказал парень.— Мой свояк тоже воевал.

— Сам-то ты с какого года?

— С двадцать шестого.

— Одногодки.— Волков кивнул на меня.

Парень вздохнул.

— Меня по болезни не взяли.

— По какой-такой болезни?

— С сердцем что-то.

— Врешь!

— Справку могу показать... Зря ко мне придираешься. Я про вас везде говорю: фронтовичкам все в первую очередь. Скоро новые тумбочки привезут — десять штук. Вам — три.

— Почему три? — возмутился Волков.

— Дурдыеву эта останется.— Парень показал рукой на обшарпанную тумбочку.

— Себе, небось, новую притащишь?

— Зачем она мне,— лениво откликнулся парень.

— Уверен, новую! А чем ты лучше Гермеса? — Волков все повышал голос, но рук из карманов не вынимал.

— Я — активист,— вдруг сказал парень.

Волков фыркнул:

— Давно ли сделался им?

— Ты, Волков, только поступил в институт, а я уже на втором курсе. Меня даже в профком собираются выдвинуть.

— Не пройдет! Мы Самарина изберем.

Парень замотал головой.

— Не получится.

— А ну выкладывай, почему! — Волков вынул руки из карманов.

Парень покосился на тяжелые, как гири, кулаки.

— Самарин по анкетным данным не пройдет.

— Что-о?

— Прекрати.— Самарин поморщился. Он всегда морщился и произносил «прекрати» или «перестань», когда ему что-нибудь не нравилось.

Волков чертом взглянул на лейтенанта, куснул посиневшую от гнева губу, повернулся к парню:

— Знаешь что, Варька...

— Это ты мне?

— Тебе, тебе...

— Родители, между прочим, меня Владленом назвали.— Парень произнес это с одышкой. Показалось, он насильно выпихивает из себя слова; на его бледном, отечном лице появились капельки пота.

— А я тебя в Варьку перекрестил!

— Псих ты — вот кто.

Волков тотчас перемахнул через подоконник, двинул Владлена в челюсть.

Тот покачнулся, испуганно посмотрел на обидчика, попятился и быстро-быстро скрылся за углом. «Зачем же ты так?» — хотел сказать я Волкову, но меня опередил Самарин.

— Силу показываешь? — с осуждением произнес лейтенант.

— А чего он обзывается!

— Сам же вызвал его на это.

— Сам, сам,— проворчал Волков. Чувствовалось, что его начинает заедать совесть...

5

Когда Волков включил лампочку, висевшую под самым потолком на коротком шнуре, я зажмурился — таким сильным был свет.

— Глаза режет,— пожаловался я.

— Зато светло. Лампочки сейчас дефицит. Я полгорода обегал, пока эту добыл. Раньше тут слабенькая висела. Вечером раскроешь учебник — буквы сливаются. А теперь хоть читай, хоть пиши.

При ярком электрическом свете комната показалась мне унылой. Отчетливо виднелись шероховатости на стенах, стершаяся краска в тех местах, к которым ребята, сидя на кроватях, прикасались затылками. В распахнутые окна проникал холодный воздух, и было слышно, как журчит в арыке вода.

— Днем душно, и от жары тупеешь, а ночью мураши высеиваются,— сказал Волков, сдерживая зевоту.

— Не выспался? — Самарин чуть заметно улыбнулся.

— Вчера поздно вернулся.

— Лучше бы читал побольше! За два месяца, что мы вместе живем, ты ни одной книжки не раскрыл. Раньше все брюзжал — темно. А сейчас-то что мешает?

— Времени не хватает, лейтенант.

— А на гулянки?

— На это всегда пожалуйста!

Самарин рассмеялся.

— Хороший ты парень, Волков, но бабник, каких белый свет не видел.

— Это точно! У меня своя теория: гулять и гулять, чтобы в старости было что вспомнить. А в охи да вздохи, в любовь, про которую в книжках пишут, я не верю.

— Напрасно,— сказал Самарин.

Я вспомнил Алию и воскликнул:

— Такая любовь существует!

— Правильно.— Самарин с интересом посмотрел на меня.

Послюнявив пальцы, Волков поправил челочку, хотя в этом не было надобности: аккуратная и маленькая, она лежала на лбу, словно приклеенная.

— Вы будущие филологи — натуры чувствительные. А у меня ум трезвый, математический.

Самарин нацепил на окна газеты. От легкого колебания воздуха они надулись, как паруса, зашелестели. На фоне потускневшего неба горы превратились из синих в черные. Журчание воды в арыке стало еще звонче — наступающая ночь рождала ту особую тишину, когда слышен каждый шорох и все привычное воспринимается иначе, чем днем.

В дверь постучали.

— Да-да,— сказал Самарин.— Войдите.

В комнату вошла девушка в байковом халате, заколотом на груди большой булавкой. Из-под него выглядывали щегольские сапожки. Волосы у девушки были огненно-рыжие, губы казались окровавленными от густого слоя помады, лицо блестело.

— Закурить не найдется, ребятишки? Перед сном, как всегда, тянет.

Волков достал самодельный алюминиевый портсигар с пронзенным стрелой сердцем, молча протянул его девушке.

— Махорка? — Девушка посмотрела на Самарина.— «Гвоздиков», лейтенант, нету?

— Кончились.— Он почему-то смутился.

— Обойдемся!

— Чем ты моську-то изукрасила? — обратился к ней Волков.— Блестит она у тебя, как сковородка после яичницы.

— Это у тебя, Волков, моська,— возразила девушка.— У меня, слава богу, лицо.

Я раздумывал — симпатичная эта девушка или нет. Ее лицо, несомненно, было приятным, но чрезмерно накрашенные губы, густой слой крема, резкие движения — все это отталкивало. Она перехватила мой взгляд:

— Ты и есть новичок?

— Познакомьтесь,— спохватился Волков.

Я назвал себя.

— Нина.— Девушка протянула мне руку, оказавшуюся неожиданно мягкой.

— Архипова,— добавил Волков.

— Значит, теперь нас, фронтовиков, четверо,— задумчиво произнесла Нина и, прикурив от поднесенной Самариным спички, жадно затянулась.

— Пока четверо,— сказал Волков.— Через год тут таких, как мы, навалом будет.

— Почему?

— Соображай! — воскликнул Волков.— Демобилизация в самом разгаре. Двадцать четвертый и двадцать пятый год еще не начинали.

— А тебя почему раньше отпустили?

— По Указу. Как имеющего два ранения и среднее образование.

Нина вопросительно взглянула на меня.

— Комиссовали,— сказал я.— Тяжелая контузия была.

— На инвалидности сейчас?

— Нет.

Я мог бы получить инвалидность. В госпитале мне об этом говорили не раз. Но я не считал себя инвалидом и поэтому не обратился во ВТЭК.

Нина потушила о каблук окурок, сунула его в консервную банку, заменяющую пепельницу. Когда за ней захлопнулась дверь, Волков процедил:

— Не нравится мне этот конь в юбке. Пьет, курит, ругается, как мужик. Я баб, которые на фронте были, не люблю: там они набирались всякой чертовщины и брюхатыми становились.

— Неправда,— возразил Самарин.— В моей роте санинструктор была — никаких шашней и воевала не хуже мужчин.

— Исключение!

Они стали пререкаться. А я рассказал про сандружинницу Олю — разбитную девушку с короткой стрижкой. Она тоже курила, не отказывалась от «наркомовских», не лезла за словом в карман и вообще казалась мне грубой. И я решил, что Оля

плохо обрабатывает раны и вместо ласковых слов дерзит раненым. Так я думал до тех пор, пока меня не саданула в руку. Вначале я ничего не понял, только почувствовал — обожгло. Потом увидел кровавое пятно. Ткань на рукаве быстро пропитывалась кровью, пятно увеличивалось. Прислонившись к дереву, я с ужасом смотрел, как капает на влажные листья моя кровь. Хотелось кричать, но не было сил. Решил, что рана, должно быть, опасная и, ловя ухом шум удалявшегося боя, закрыл глаза... Я не заметил, откуда появилась Оля, начал соображать, только когда она, усадив меня на поваленное взрывом дерево, укрытое кустами, разорвала рукав и подула на рану.

Ее быстрые, ловкие пальцы ощупали предплечье, и я сразу почувствовал облегчение. И совсем ободрился, когда Оля произнесла своим хрипловатым голосом: «Ничего страшного, родненький! Кость цела. Полежишь в медсанбате две недельки — и назад.— Она вывела меня на безопасное место, ласково спросила: — Дойдешь?»

Пробыл я в медсанбате, как и предсказала сандружинница, ровно две недели. А когда возвратился, Оли уже не было — она погибла накануне. Вместо нее прислали пожилого, медлительного сержанта, у которого были не руки, а ручищи. Глядя на него, я вспоминал Олю и тихо горевал.

— И все-таки война не женское дело! — воскликнул Волков.

— Это уже другой вопрос,— ответил Самарин.— Свой вклад в общее дело наши женщины внесли. И какой вклад! Шахтеры — тоже не женская профессия. Я в Горловке в госпитале лежал и видел женщин-шахтерок.

— Женщина — существо нежное, и вдруг с кайлом и лопатой,— продолжал Волков.

— А что было делать? Только наши женщины способны на такое. Вспомни: «В игре ее конный не словит, в беде не сробеет, спасет: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Волков поднял руки:

— Сдаюсь! Филологов не переспоришь — у них голова цитатами набита. Это, как тяжелая артиллерия, действует.

Вошел Гермес. На лице блуждала улыбка, глаза сияли.

Волков воскликнул с шутливым трагизмом:

— Еще одна жертва любви! Мир никогда не узнает великого математика, каким мог бы стать Гермес Дурдыев.

— Почему? — Гермес поморгал.

— Перед твоим приходом я доказывал филологам, что математики — люди с трезвым умом. А ты...

— Что я?

— Взял и влюбился!

— Перестань балаганить.— Самарин прошелся по комнате.— У Гермеса сегодня, может, самый счастливый день в жизни, а ты, Волков, все портишь.

— Что думаю, то и говорю,— проворчал тот.

— Не всегда это надо делать! — отрезал Самарин. И добавил: — Давайте спать, ребята, уже без десяти двенадцать...

Прошло всего полдня, как я очутился в этой комнате, а мне казалось — живу тут вечно. Я даже Гермеса перестал называть про себя пижоном, потому что понял: он оделся во все самое лучшее «по уважительной причине». Я бы тоже, собираясь на свидание, принарядился, если бы было во что. Но, кроме ветхой гимнастерки, хлопчатобумажных армейских брюк с заплатой на самом видном месте, стоптанных кирзовых сапог да скомканного носового платка, служившего в случае необходимости и полотенцем, у меня ничего не было, и я подумал, что теперь, получив стипендию, надо будет купить хоть телогрейку: скоро начнутся холода, правда, не такие, как в Москве, но все же, должно быть, ощутимые, и в одной гимнастерке при всем желании не проходишь, а если придется встретиться с Алией (мне почему-то казалось, что мы обязательно встретимся), то со стыда сгоришь, представ перед ней в таком, как сейчас, виде.

Расстилая на жестком матраце пахнущие прачечной простыни, я сказал сам себе, что ребята, с которыми отныне я буду жить,— «на большой» и, наверное, выделил бы среди них Волкова, если бы тот не был драчуном: он покорил меня своей прямотой, раскованностью.

Перед Самариным я пока что робел, как всегда робел перед офицерами. Началось это еще в запасном полку, где я осваивал военную науку. Там офицеры пресекали все попытки подружиться с ними, строго наказывали за малейшее упущение. Очутившись на фронте, я не смог перебороть в себе то, что вдолбили мне в запасном полку. Во время задушевных бесед с лейтенантом Метелкиным смущался, часто отвечал невпопад и даже, к его удивлению, вытягивался: в запасном полку, видимо, переусердствовали.

Гермесу я теперь симпатизировал, потому что он тоже был влюблен. Это сближало меня с ним, делало нас вроде бы сообщниками. Захотелось вызвать его в коридор и сообщить по секрету о существовании Алии. Но потом решил, что Гермес еще мальчик, что его любовь к туркменочке, должно быть, просто увлечение, а я уже познал женщину. Это случилось совсем недавно, на Кавказе. И я, наверное, решил перебраться через Каспийское море не только потому, что на Кавказе было и голодно и холодно, но и потому, что там все напоминало мне ту женщину. Возникло ее лицо: морщинки на лбу, глаза васильковой синевы, и я вдруг ощутил вину перед Алией.

Я позавидовал Гермесу: он светлый парень, и свою туркменочку будет вспоминать даже тогда, когда чувство или угаснет само по себе, или его оставят, или он оставит, но, встречаясь с другой, забывая обо всем на свете, все же иногда станет вспоминать Ее.

Женщина, с которой я сблизился на Кавказе, была моей первой настоящей любовью; до тех пор я просто влюблялся, как влюбляются все, достигнув возмужания. Еще год назад мне казалось: «нравится» и «люблю» — одно и то же... Нелегкой была моя первая любовь. Я страдал, мучился, когда на мою любимую глазели мужчины. Она была очень красивой, та женщина. И хотя ходила в тяжелых мужских сапогах, в ватнике, от ее прекрасного лица невозможно было оторвать взгляд. Я любил, сжав ладонями это лицо, подолгу смотреть в глаза васильковой синевы. Они то смеялись, то становились такими грустными, что я чуть не задыхался от душевной боли.

Я стал вспоминать, сколько раз виделись мы за полгода, и получилось, что встречались мы всего пять раз и всегда украдкой — так хотела она. Все это осталось в моей памяти. Непередаваема была радость, которую испытывал я; непередаваемо чувство горечи, когда мы прощались, чтобы встретиться неизвестно где и через сколько дней. А потом мы расстались. Она сказала, что встретила самостоятельного человека — не такого, как я.

Еще на «Узбекистане» я думал с надеждой: «Скоро ни боли не будет, ни тоски».

И теперь вдруг понял: знакомство с Алией лишь приглушило боль.

6

Пединститут размещался на окраине Ашхабада. Называлась она — сад Кеши. Ни улиц, ни переулков там не было. Окраина эта представляла собой обособленный район, своего рода город в городе, точнее — придаток к городу, и состояла из полутора десятков строений, большинство которых, заслоненное словно щитом трехэтажным зданием главного корпуса, скрывалось за сцепившимися кронами деревьев. В одноэтажных, оштукатуренных снаружи и изнутри помещениях находились аудитории, чуть попросторнее обыкновенных классных комнат. Здесь проводились семинары и даже читались лекции. Когда в такую аудиторию набивалось две или три группы, от тесноты трудно было пошевелиться. Каждая лекция и каждый семинар продолжались полтора часа без перерыва. Это казалось мне вечностью, и я, слушая вполуха преподавателя, с тоской поглядывал за окна, к которым почти вплотную подступали деревья, еще не потерявшие всей листвы. Желтые листья отрывались от ветвей и, то удаляясь от стекол, то неслышно стукаясь о них, медленно опускались. Некоторые из них падали в узкий и неглубокий арык. Дно этого и многих других таких же арыков, облепленное затонувшими листьями, казалось выложенным золотом.

Курс психологии нам читал Валентин Аполлонович Игрицкий, кандидат наук, очень нервный, невзрачный на вид. Зачесанные назад волосы открывали выпуклый лоб и были такими светлыми, что, лишь сосредоточив на них внимание, удавалось разглядеть седину. Руки Игрицкого все время были в движении: гибкие пальцы то теребили свисающую пуговицу на обтрепанном пиджаке, то нервно скребли подбородок, то вдруг сжимались, и кулак с грохотом опускался на хлипкий стол с качающимися ножками, со вспученной фанеровкой. От удара стол вздрагивал, и каждый раз вздрагивал я — никак не мог привыкнуть к эксцентричным выходкам преподавателя психологии. Свой курс он читал интересно, можно сказать, с блеском. Волков сообщил мне, что до войны Валентин Аполлонович преподавал в Ленинграде, потом переехал в другой город, побывал еще где-то и вот уже второй год работает в Ашхабаде, но висит на волоске: по его вине часто отменяются лекции по психологии. Запой обычно начинался утром. На лекцию Игрицкий приходил уже «на взводе». Швырнув на стол коричневый потрепанный портфельчик, какими обычно пользуются первоклассники, он обводил нас затуманившимся взглядом и произносил, зябко потирая руки: «Ну-с!» После этого он минуты три мотался от окна к двери, то убыстряя, то замедляя шаги. Не останавливаясь, объяснял, что ему нездоровится, поэтому лекцию читать он не будет, а лучше расскажет что-нибудь. Мы, естественно, оживлялись. Говорил Игрицкий обо всем, и с юмором, жестикулируя больше, чем обычно. Оборвав речь на полуслове, неожиданно сообщал, что ему надо принять лекарство. Отвернувшись, вынимал из внутреннего кармана пиджака четвертинку без этикетки. Если самодельная пробка не поддавалась, не стесняясь нас, вытягивал ее зубами. Сделав два или три глотка, он отставлял руку с четвертинкой, смотрел, прищурясь, сколько осталось. Закупорив бутылку, засовывал ее в карман.

Принимал он «лекарство» часто, и с каждым разом все больше хмелел. Как только раздавалось дребезжание колокольчика, возвещавшего об окончании лекции, Валентин Аполлонович бессильно опускался на стул, ронял на стол голову. Два самых дюжих студента осторожно брали его под руки. Игрицкий начинал вырываться, сквернословил. Студентки разбегались, заткнув уши. Потом он вставал и уходил сам. Старался идти прямо, но это ему не удавалось: Валентин Аполлонович качался, как маятник, привалившись то одним, то другим плечом к стене. Задев кого-нибудь, невнятно произносил: «Извините»,— и продолжал свой путь, зажав под мышкой потрепанный портфельчик.

Жил Игрицкий в одном из флигелей — они лепились друг к другу позади общежития. Эти флигеля напоминали украинские хаты-мазанки — такие же белые, маленькие, чистенькие. От общежития их отделяла огромная клумба с уже поникшими цветами. Проложенная от главного корпуса дорога, утрамбованная сотнями ног, разделялась у клумбы на две дорожки. Одна из них вела к общежитию, другая — к флигелькам.

Окна комнаты, которую занимал Игрицкий, были запыленными, это было особенно заметно в ясные дни, когда солнечные лучи пронизывали стекла. Флигелек состоял из одной комнаты с двумя окнами и маленькой кухни. Затянутое паутиной окно кухни с разбитым стеклом располагалось под самой крышей. Из него попахивало перепревшей или пережаренной пищей, и было слышно, как чертыхается Валентин Аполлонович. Нина много раз порывалась зайти к нему и помочь по хозяйству, но боялась, что он воспримет это как подхалимаж.

Каждый день, чаще всего вечером, она приходила в нашу комнату и иногда засиживалась допоздна. Ее тянуло к нам, как железо к магниту, и на прямой вопрос Волкова Нина ответила, что с девчонками, с которыми она живет в одной комнате, ей неинтересно, хотя они почти ровесницы; что девчонки эти — детский сад и ведут себя по-детски: то расстраиваются по пустякам, то стрекочут, словно сороки, то охают и ахают.

Она оказалась неплохой девушкой, эта самая Нника. Я узнавал ее в толпе однокурсниц по цвету волос. Издали казалось, Никина голова пылает. Лицо ее портила лишь косметика, которой она явно злоупотребляла. Без косметики — ярко накрашенных губ и крема на лице — Ника производила приятное впечатление. Она, пожалуй, была даже красивой. Лицо слегка вытянутое, карие глаза с короткими ресницами темнели, когда Волков уж слишком явно демонстрировал свою неприязнь. Самарин в эти минуты нервно барабанил пальцами по краю стола.

Днем она ходила в гимнастерке и в синей суконной юбке, очень узкой. Глядя на Нинку, я часто представлял ее в модном платье, в туфлях на высоких каблуках, но, кроме байкового халата, который она надевала по вечерам, у нее ничего «гражданского» не было.

Я понял, что Ника очень добрая, и стал думать о ней по-иному, когда она при всех пожалела Игрицкого. Волков тотчас сказал со свойственной ему безапелляционностью, что пить надо уметь, что Игрицкому вроде бы не на что жаловаться: на фронте не был и зарплата — дай бог всякому такую.

— Разве в этом дело? — откликнулась Нинка.

— В чем же? — спросил Волков.

Нинка вздохнула и сказала, что ее отец был очень хорошим, добрым человеком, но тоже пил; пока она жила дома, работал и даже лечиться обещал, а как ушла на фронт, совсем опустился и умер, покинутый всеми.

— Я матери и родной сестре до сих пор простить это не могу,— добавила Нинка,— поэтому и уехала от них.

— Вот ты, оказывается, какая...— удивился Волков.

Запой у Игрицкого продолжался неделю, и все это время он проводил дома — выходил только в то заведение, которое строят на отшибе. Здесь оно стояло около дувала — глинобитной стены, отделявшей жилые помещения от учебных. На одной двери была намалевана краской буква «Ж», на другой «М», на третьей белела надпись: «Для преподавателей».

Когда во время запоя Игрицкий появлялся во дворе, мы гадали, в какую дверь он войдет на этот раз. Если он оказывался на нашей половине, расступались, старались не обращать на него внимания. Но Игрицкий часто вваливался в женский туалет, и тогда начинался переполох: дверь бабахала, словно пушка, девчонки с визгом разбегались, одергивая на ходу юбки и платья, а мы чуть не падали от смеха.

...Во время запоев Валентин Аполлонович ни с кем не общался и никого не пускал к себе, даже доцента Курбанова, с которым его связывала большая дружба. Это был туркмен — слепой, однорукий, с обезображенным ожогами лицом, с орденской планкой из четырех ленточек. Рассказывали, что он командовал танковым батальоном; два раза сам выбирался из подбитых «тридцатьчетверок», а на третий раз его вынесли. Врачи спасли ему жизнь, но вернуть зрение не смогли. Ходил Курбанов с палкой, сучковатой, отполированной, с черным набалдашником, инкрустированным слоновой костью. Шел он уверенно, будто зрячий. Если натыкался на что-то, останавливался как вкопанный. Несколько мгновений стоял неподвижно, потом обходил препятствие.

Читал Курбанов педагогику. Как он готовился к лекциям, неизвестно. Но его лекции пользовались успехом и поэтому всегда проводились в главном корпусе — в просторной аудитории с высокими, закругленными у потолка окнами. Во время лекции Курбанов стоял на кафедре неподвижно, опустив руки — настоящую и искусственную в кожаной перчатке. Жесткие черные волосы чуточку смягчали противоестественность его лица, темные очки воспринимались, как маскировка. Мне чудилось, Курбанов все видит, все замечает. Говорил он негромко, и, может быть, поэтому на его лекциях стояла такая тишина, что было слышно, как скрипят перья и шелестят страницы сшитых из отдельных листов тетрадей.

К Игрицкому Курбанов относился необыкновенно ласково, узнавал его издали по каким-то известным лишь ему признакам, иногда останавливался и ждал, когда Валентин Аполлонович подойдет, а чаще устремлялся к нему сам, поводя из стороны в сторону палочкой. Поприветствовав друг друга, они отходили обычно к окну и подолгу разговаривали. Курбанов был выше Игрицкого и, слушая его, наклонял голову, а маленький и подвижный Валентин Аполлонович напоминал в эти минуты задиристого петушка: переступал с ноги на ногу, вскидывал подбородок, ерошил волосы; когда они налезали на лоб, отбрасывал их небрежным жестом. Особенно возбужденным он становился, если Курбанов возражал, и вскоре уходил, подергивая лопатками. Студенты-старожилы рассказали нам, что в прошлом году Курбанов пытался несколько раз навестить Валентина Аполлоновича во время запоя, но тот даже не отозвался на стук. Внимание, которое оказывал Курбанов Игрицкому, удивляло меня: я терпеть не мог пьяниц.

За три недели, которые я провел в институте, лекции по психологии отменялись несколько раз.

Я стоял у окна, смотрел на падающие в арык листья и вспоминал Алию. Вчера, в воскресенье, я наконец решил подкараулить ее у больницы и сегодня встал раньше всех.

— Куда? — спросонья спросил Волков.

— Пройдусь,— ответил я.

— На лекцию смотри не опоздай! — предупредил Самарин.

— Первая пара — «окно».

— Психология?

— Точно.

Учеба давалась мне легко и учиться нравилось. Я не записывал лекции — не было бумаги: надеялся на свою память и на учебники, которые можно было получить без всякого труда в институтской библиотеке. Часто воображал себя учителем, мысленно рассказывал школьникам о том, что успел узнать в институте, и о том, что знал сам. До этого я даже не мечтал стать учителем, а теперь вдруг решил: лучше профессии нет! Волков говорил, что педагог из него не выйдет, а диплом получить хочется. Гермес мечтал открыть что-нибудь новое в математике. Самарин на наши вопросы о будущем отвечал:

— Не люблю загадывать...

Но однажды его прорвало, и он, смущенно улыбнувшись, сказал, что тоже мечтает стать учителем, и не просто учителем, а директором школы в каком-нибудь таежном поселке, и что в этой школе все будет как при коммунизме,— Самарин так и сказал.

— Уточни! — потребовал Волков.

Самарин объяснил, что дети и учителя там станут прежде всего единомышленниками; педагоги будут учить ребят не только наукам, но и помогут им полностью раскрыть в себе все самое хорошее, что есть в каждом человеке.

— Хочу, чтобы они проводили в школе весь день,— добавил Самарин.— Даже питание там организую.

— На какие же шиши собираешься их кормить? — не скрывая иронии, поинтересовался Волков.

— Свое собственное хозяйство при школе заведем: огород, сад, ферму. Придет время — трактор купим и другую сельскохозяйственную технику. Ребята покинут школу подготовленными во всех отношениях.

— А позволят ли тебе это?

— Добьюсь!

— Хочешь сделать, как у Макаренко в «Педагогической поэме»? — спросил я.

— Точно! Только еще лучше.

Волков погасил в глазах иронию.

— Ты, лейтенант, партийный?

— Пока нет.

...Я мчался к больнице. Честно говоря, я уже был там. В прошлое воскресенье целый час слонялся под окнами, но Алию так и не увидел. «А теперь увижу,— взволнованно думал я, подбегая к больнице,— расскажу, как тосковал, назначу ей свидание и... и все будет, как в танковых войсках!»

Вот она — больница. Знакомые окна. Знакомый подъезд. Но кто это? Неужели? Точно, он... Около подъезда прогуливался — три шага в одну сторону, три в другую — черноволосый старший лейтенант с усами. Я приуныл. Подойдя к витрине с оборванной газетой, сделал вид, что читаю. Когда появилась Алия, мне стало больно. Заметила она меня

или нет, я не понял. Старший лейтенант и Алия свернули за угол, а я поплелся в институт. Раньше была маленькая-маленькая надежда, теперь даже ее не осталось.

...Я был погружен в свои думы и не сразу обратил внимание на остановившегося около меня Владлена, которого Волков упорно продолжал называть Варькой. Особых чувств я к нему не испытывал, но и неприязни не было.

— Опять психологию отменили? — спросил Владлен.

Я кивнул.

— Безобразие! — Владлен напустил на лицо озабоченность.— Но скоро этому положат конец. Другого преподавателя возьмут.

— А Игрицкого куда?

— Выгонят.

Я не поверил.

— Из надежного источника сведения,— сообщил Владлен.

— Из какого?

— Знать будешь много — состаришься скоро.

Его слова почему-то взбесили меня. Я послал Владлена к черту.

— Ну вот,— уныло откликнулся он.—Ты, оказывается, такой же, как Волков.

— Чем же он плох?

— Матерщинник,— начал перечислять Владлен,— бабник, забияка... Одним словом, хулиган.

— Ну, знаешь!..

Владлен вздохнул и добавил:

— Мой совет — Самарина тоже остерегайся. Ты не гляди, что он молчаливый и выдержанный. В тихом омуте черти водятся. Я его анкетку случайно прочитал — гром с ясного неба! Наград лишен — раз, отца и матери нет — два, в детдоме воспитывался.

Не знаю, зачем сказал мне это Владлен. Видимо, ему захотелось похвастать, показать свою осведомленность. Но его слова возмутили меня, я взорвался, назвал его скотиной и ушел.

Одноэтажные строения, в которых размещались аудитории, были разбросаны в раскинувшемся за главным корпусом парке. До недавнего времени я думал, что этот парк и есть сад Кеши, но Волков объяснил, что сад Кеши находится километрах в пяти отсюда и похож на лес — так много там яблонь и других плодовых деревьев.

Огромное желтое солнце плыло по небу, подернутому легкой дымкой. По-прежнему было прохладно. Так бывает лишь в утренние часы поздней осени. Нежаркое солнце, утро, тишина — все это настраивает на раздумья. Бесцельно бродишь и бродишь, разрыхляя ногой слежавшиеся, будто спрессованные листья, и в твоей памяти начинают возникать какие-то лица, голоса, и никак не удается понять, была ли в твоей жизни такая же осень или это только грезится, а если была, то где и когда. Пытаешься вспомнить что-то очень важное и не можешь.

Из приоткрытых окон доносилась размеренная речь преподавателей, я видел лица студентов и студенток, ловил их взгляды. По усыпанным листьями дорожкам пробегали, торопясь куда-то, первокурсники. Студенты старших курсов, у которых тоже были «окна», прогуливались, уткнув носы в учебники и конспекты.

Я все еще находился под впечатлением разговора с Владленом. Я вдруг подумал, что Игрицкого действительно могут уволить, и впервые пожалел его. Захотелось узнать, правду сказал Владлен или только навел тень на плетень.

Курбанова я увидел издали, когда он свернул на дорогу, ведущую к главному корпусу. «Вот кто в курсе дела»,— решил я. Догнав Курбанова, извинился, по-военному четко спросил:

— Разрешите обратиться?

— Слушаю вас.

— Верно, что психологию нам будет читать кто-то другой?

Курбанов насторожился.

— С кем имею честь?

Я представился и добавил:

— Это мне Варька сообщил.— Я впервые назвал его Варькой.

— Кто-о?

— Извините. Фамилию этого студента не знаю, а зовут его Владлен.

— Но вы сказали «Варька».

— Это прозвище.

Курбанов усмехнулся.

— Толстый такой парень,— стал поспешно объяснять я, позабыв, что Курбанов слепой,— с бабьим лицом.

Курбанов снова усмехнулся.

— Догадываюсь, о ком идет речь. Именно таким я и представлял себе этого студента. Теперь позвольте узнать: как вы сами-то относитесь к Игрицкому?

— Лекции у него интересные, но...

Палка в руке Курбанова дрогнула. У меня на языке вертелись слова «пьет он часто», однако я не осмелился произнести их вслух. Курбанов, должно быть, понял это, с грустью произнес:

— Беда Игрицкого как раз и заключается в этом «но». В нашем институте есть люди, которым он поперек горла. А ведь он очень талантливый, нужный для науки человек.— Преподаватель педагогики помолчал.— Но есть и другие... Вы фронтовик?

— Так точно!

— Я так и подумал.— Курбанов кивнул мне и, нервно отшвыривая палкой листья, направился к главному корпусу.

Разговор о Валентине Аполлоновиче возник снова во второй половине дня, когда пришла Нинка.

— Только что Курбанов к Игрицкому пытался прорваться,— сказала она.— И в дверь стучал и в окна — без толку. Попросил меня посмотреть, что с ним. Прижалась носом к стеклу — лежит. Повсюду склянки, бутылки, пузырьки. Курбанов рядом стоит, чувствую, еще о чем-то спросить хочет, да не решается. Я не сразу сообразила, о чем. Посмотрела в окно — грудь ходуном ходит. «Живой»,— говорю. Курбанов «спасибо» сказал и ушел.

Я рассказал то, что услышал от Владлена.

— Ты чего этого мерзавца все время Владленом называешь! — вспылил Волков.— Варька он!

Засунув большие пальцы под ремень, Самарин расправил гимнастерку.

— Жаль будет, если выгонят Игрицкого.

— Пропадет он тогда! — вздохнула Нинка и, попросив у Самарина «гвоздик», закурила.

— А мне, братва, все равно, кто психологию будет читать.— Волков зевнул.— Для математиков это не профилирующий предмет.

Гермес возразил, сказал, что психология ему очень нравится.

— Я считал, что тебя только точные науки увлекают,— удивился Волков. И добавил: — Между прочим, я тоже слышал, что Игрицкому собираются сказать «покедова».

— От кого слышал? — поинтересовался я.

Волков потер лоб.

— Че-ерт... не помню. Это было вскользь сказано.

— Послезавтра профсоюзное собрание,— сказал Гермес.— Может, там что-нибудь прояснится.

— Верно! — подтвердил Волков. — Послезавтра вылезет на трибуну какой-нибудь хмырь и шарахнет по Игрицкому. Потом, глядишь, и Варька речь толкнет.

— Не осмелится,— сказал я.

— Еще как осмелится! — возразил Волков.— Он всегда «в курсе», потому что около начальства трется. Начальству он безобидным кажется, а на самом деле дрянь, каких мало.

Самарин усмехнулся:

— Преувеличиваешь.

— Вы что, слепые? — Волков начал заводиться.— Помяните мое слово, братва, он выпустит коготки, если в профком пролезет.

Убежденность Волкова подействовала на меня. Я снова вспомнил разговор с Владленом и решил, что в словах Волкова, должно быть, есть истина.

— Заступиться бы за Игрицкого,— сказал Самарин.

— Зачем? — Волков зевнул.

— Значит, в молчанки играть будем?! — напустилась на него Нинка.— Ты, Волков, чудной какой-то: то без дела на рожон лезешь, то руки в брюки, словно я не я и хата не моя.

— Таким уж меня мама родила,— сказал Волков.

— Перестань.— Самарин поморщился.— Давайте лучше помозгуем, как Игрицкому помочь.

Волков снова зевнул.

— Чудным ты мне иногда представляешься, лейтенант. По моему разумению, ты обозленным должен стать, потому что с тобой несправедливо обошлись. А ты все добреньким стараешься быть.

— Он не старается,— возразил я.— Он действительно добрый.

— Доброта не всегда нужна! — отрезал Волков.

— Тут ты прав,— согласился Самарин.— Но к Игрицкому это отношения не имеет.— Самарин посмотрел на Волкова.— Тебе придется выступить. Ты у нас самый языкастый.

Волков сразу стал серьезным.

— Хоть мне и начхать на Игрицкого, но я молчать не стану, если его Варька топить будет.

Возможно, Игрицкого следовало бы наказать: его запои отрицательно сказывались на учебном процессе,— но мы насмотрелись на фронте жестокости, сами бывали порой излишне жестокими; теперь хотелось делать только добро. Именно поэтому мы и решили заступиться за Игрицкого.

Чем больше я узнавал ребят, тем сильнее привязывался к ним. Самарин был замкнутым человеком, и это мешало сблизиться с ним. Иногда лейтенант машинально притрагивался к дырочкам на гимнастерке, и тогда по его лицу пробегала тень. Но когда Волков снова завел разговор о наградах, Самарин с досадой сказал:

— Замнем для ясности. Не люблю попусту языком молоть.

Больше мы на эту тему не говорили.

К Гермесу я относился, как к младшему брату, вместе с Волковым подтрунивал над ним, когда он собирался к своей туркменочке, вспоминал в эти минуты то Алию, то свою первую любовь.

— Просто так с ней время проводишь,— поинтересовался Волков,— или женитьбу на прицеле держишь?

— Я хоть сегодня,— признался Гермес.— Но она боится.

— Чего?

— За нее калым хотят взять. В Туркмении это — дело обычное. Сами посудите, до начала тридцатых годов тут еще басмачи были. Только-только налаживаться жизнь стала — война началась. Теперь, конечно, изменится многое, когда-нибудь о калыме лишь вспоминать будут, но пока он есть.

— И большой калым?

— За нее десять тысяч требуют и тридцать овец.

— Ого!

— Она сказала,— продолжал Гермес,— с отцом договориться можно, а эдже-джан без калыма не разрешит. Ее эдже-джан — отсталая женщина, до сих пор по адату живет.

— Что такое адат и... без пол-литра и не выговоришь.

Гермес улыбнулся.

— Эдже-джан—по-туркменски «мамочка». А адат— свод неписаных правил. Хоть он и отменен в нашей стране, но старики туркмены его чтут.

— Пообещай калым — и в загс,— посоветовал Волков.— Пусть потом чухается эта самая эдже-джан.

Гермес покачал головой.

— Не поможет. Силой вернут. Этот обычай кайтарма называется.

— А мы на что? — Волков выпятил грудь.— Встанем — не прошибешь.

Гермес поблагодарил его взглядом.

— У русских с женитьбой никакой мороки, а в Туркмении еще часто на свадьбе вместо веселья слезы. Совсем молоденьких за стариков отдают, потому что у них деньги.

— Варварство! — воскликнул я.

— Адат,— возразил Гермес.

Я помолчал, собираясь с мыслями, и, словно невзначай, спросил:

— У азербайджанцев тоже калым?

— Местные без него обходятся,— ответил Гермес.

Я перевел дыхание, улыбнулся.

— Ты чего? — Волков покосился на меня.

— Просто так.

— Темнит он, братва!

Я побоялся, что меня выдаст лицо, и отошел к окну...

Волков часто сматывался по вечерам, приглашал «погулять» меня и Самарина, но мы каждый раз отказывались. Я думал об Алии, а Самарина, видимо, удерживала любовь к Нинке. Свое чувство он прятал от нас, но скрыть не мог. Мы догадывались, что он любит Нинку, однако вслух об этом не говорили.

— Зря, лейтенант, себя в строгости держишь,— говорил Волков.— Живи как живется.

— Не могу так, как ты.— Самарин отвернулся, дав понять, что этот разговор ему неприятен.

Волков перевел взгляд на меня.

— Может, ты пойдешь? У моей курносой — Таськой ее звать — как раз сегодня именины.

Я отказался.

Волков захохотал:

— Как монахи, братва, живете, ей-богу. Столько девчат вокруг — аж глаза разбегаются. На танцах — только мигни.

Можно было, конечно, осуждать Волкова, можно было не соглашаться с ним, не поступать так, как он, но вопреки всему этот парень нравился мне с каждым днем все больше. Я чувствовал: Волков — надежный товарищ, один из тех, кто, если потребуется, пойдет и в огонь и в воду.

Ходить с ним по улицам было забавно: он глазел на всех мало-мальски симпатичных женщин, причмокивал, когда мимо постукивали каблучками стройные, с ладными фигурами.

— Ишь, королевна,— бормотал Волков и долго вертел головой, даже останавливался, провожая взглядом какую-нибудь красотку.

Женщины тоже посматривали на него, хотя в его внешности не было ничего примечательного. Но они, женщины, видимо, угадывали в нем другое, чего не понимал я.

Я очень обрадовался, когда выяснилось, что мы воевали в одной армии, только разных дивизиях. «А помнишь...» — начинал Волков и называл какой-нибудь населенный пункт или реку. Иногда я восклицал: «Помню!» — но чаще говорил: «Слышал». Несмотря на это, мы считали друг друга однополчанами.

Самарин воевал на другом фронте — намного южнее. В его скупых рассказах были широкие реки, через которые переправлялась его рота, песчаные отмели, белые хаты, задыхавшиеся от плодов сады. А я и Волков вспоминали леса, непроходимые топи, извилистые речки с тихими заводями и дожди, дожди, дожди...

Часов у нас не было. Да они и не требовались — спозаранок коридоры общежития наполнялись шарканьем ног, скрипом дверей, возгласами.

— Черти!..— бормотал Волков и натягивал на голову одеяло — он любил поспать.

Самарин несколько минут лежал, закинув за голову руки, потом, будто подброшенный пружиной, вскакивал, делал несколько гимнастических упражнений, негромко произносил:

— Подъем.

Волков начинал похрапывать. Я тоже не торопился вставать: в постели было тепло, уютно. Гермес продолжал спать по-юношески крепко.

Самарин поднимал шпингалет, оконные створки раскрывались с шумом, в комнату врывалась утренняя свежесть.

— Воспаление легких схватим! — возмущался Волков.

Самарин молча одевался, перекидывал через плечо полотенце. Захватив жестяную коробочку с мелом и размокший обмылок, шел умываться. Волков тотчас подбегал к окну. Перевесившись через подоконник, хватал створку, но не подтягивал ее — утренняя прохлада разгоняла сон.

— Здорово-то как! — каждый раз с удивлением произносил Волков.

По утрам действительно было чудесно. Копет-Даг в синей дымке, первый солнечный луч, менявшаяся на глазах окраска неба, ласкающее слух журчание воды в арыке — все это пробуждало в Волкове жажду деятельности.

— Подъем! — во всю мощь легких возвещал он и стаскивал одеяла с меня и Гермеса.

Дорога из города пролегала неподалеку от наших окон. Вначале в одиночку, потом разорванной цепочкой, а еще позже нескончаемой лентой по ней двигались к институту студенты. И чем меньше времени оставалось до первого звонка, тем гуще и шире становилась эта лента. Папахи, косынки, косички с лентами, буйная шевелюра и смоченные водой, тщательно прилизанные волосы с уже оттопыривающимися хохолками, сатиновые платья с рукавами-фонариками, рубахи с разномастными пуговицами, потертые куртки, тапочки, растоптанные ботинки, сандалии, туфли — все это проплывало мимо наших окон в течение получаса.

— Пора,— тревожился Гермес.

— Успеем,— бросал Волков и начинал искать свои тетради и учебники. Если они не попадались ему на глаза сразу, ругался, говорил, что мы их куда-то подевали.

— Да вон они.— Самарин указывал взглядом или на тумбочку, или на подоконник, или на стул.

— А-а,— обрадованно произносил Волков и засовывал тетради и учебники за ремень.

Он и Гермес занимались в одной группе. Гермес аккуратно посещал все лекции и семинары, а Волков часто сматывался, говорил, что в такую погоду грешно киснуть в помещении.

Я ходил на все лекции и семинары, кроме старославянского. Этот предмет нам читала молодая, миловидная преподавательница. Не обращая внимания на шум в аудитории, она смаковала слова и фразы, давно исчезнувшие из русского языка, а мне было скучно. Если бы на кафедре стояла какая-нибудь старушка, то я, наверное бы, не удивлялся, а молодость и архаизмы — это не укладывалось в моей голове. Сказал об этом Самарину. Он не поддержал меня, но и не опроверг. Предупредил:

— Учти, по старославянскому экзамен будет.

Я с удовольствием слушал лекции по литературе. Не всегда соглашался с той или иной оценкой произведения, отстаивал свою точку зрения на семинарах. Иногда меня поддерживали однокурсники, но чаще разбивали в пух и прах. Полемика, возникавшая на семинарах по литературе, позволяла мне лучше узнавать моих товарищей по группе и преподавателя. Он не перебивал меня, когда я с излишней запальчивостью излагал свои мысли; его лицо оставалось бесстрастным, и только в глубоко запавших глазах возникала настороженность, гладко выбритая голова лоснилась от пота.

— Ну-с,— обращался преподаватель к студентам, когда я с видом победителя опускался на свое место.

Несколько секунд все молчали. Потом Самарин произносил:

— Надо подумать. А пока могу сказать одно: это интересно.

Такой ответ явно не устраивал преподавателя. Он обводил студентов взглядом.

— Кто еще хочет сказать? — Если пауза затягивалась, добавлял: — Пусть вас, друзья, не смущает армейская одежда на этих людях. Вольнодумство — вещь опасная.

Эти слова служили своего рода индульгенцией. Кто-нибудь из вчерашних десятиклассников поднимался и без запинки отбарабанивал то, что было напечатано в учебнике. Преподаватель кивал, но в глазах то появлялась, то исчезала ирония.

Я тотчас вскакивал. Глотая слова, говорил, что в литературе каждый человек находит созвучное, близкое и понятное только ему.

— Это надо при себе держать,— утверждал преподаватель.— На все должен быть единый взгляд.

— Не согласен,— негромко возражал Самарин.— Такая постановка вопроса на догматизм смахивает.

Выбритая голова становилась розовой. Преподаватель вытирал обильный пот.

— Поживете с мое, молодой человек, поймете.

Я догадывался, что хотел сказать преподаватель, собирался продолжать спор, но Самарин говорил мне взглядом: «Бесполезно».

И хотя на семинарах по литературе я и Самарин часто оставались в меньшинстве, эти занятия были интересны тем, что давали пищу для размышлений, не оставляли равнодушными.

7

Он появился в нашей комнате на следующий день, когда Волков готовил обед.

Как только Волков вынул продукты, Нинка заторопилась к себе, но Самарин уговорил ее остаться, оценить кулинарные способности нашего товарища.

До этого, поглядывая на свободную кровать, мы часто гадали, кто займет ее. Волков хотел, чтобы этим парнем был фронтовик, Гермес говорил: «Лишь бы хороший человек поселился», Самарин, как всегда, отмалчивался, а я думал: «Вчетвером лучше жить».

Готовили мы в основном овощные блюда — другие продукты были нам не по карману. Крупу, масло, колбасу и сахар получали по карточкам, а овощи покупали на базаре, где они — так считал Волков — продавались по божеской цене.

...На допотопной электроплитке, в которой часто перегорала спираль, булькало овощное рагу, когда без стука распахнулась дверь и в комнату ввалился — другого слова не подберешь — навьюченный, как верблюд, простоватый на вид парень в заношенном армейском кителе. В одной руке он держал фанерный чемодан, в другой — корзину. На спине висел серый полумешок с приделанными к нему веревочными лямками и гитара с поблекшим красным бантом. На голове парня красовалась лихо сдвинутая набекрень офицерская фуражка; великолепный темно-русый чуб заслонял лоб; на ногах были грубые ботинки, зашнурованные белой тесьмой; черные — в рубчик — хлопчатобумажные брюки пузырились на коленях.

«Деревня»,— решил я.

Войдя, парень толкнул ногой дверь (она открывалась внутрь комнаты) и, не выпуская из рук чемодана и корзины, не снимая мешка, устремил взгляд на свободную кровать:

— Стало быть, мужики, это мое место?

Я фыркнул. Волков застыл с ложкой в руке.

— Хоть бы поздоровался,— сказал Гермес.

— Правильно! — Парень кивнул.— Здравствуйте, мужики, и...— он покосился на Нинку,— и дамочка. Стало быть, с Воронежа я. Проучился там месяц и десять дней — не понравилось. Думали мы с маманей, гадали и порешили: в Ашхабад мне ехать. Тут, говорят, теплынь круглогодично и с харчами подходяще. А в Воронеже жизнь клыкастая. Буханка на базаре — полторы сотни. Я из дому мешок картошки приволок, рассчитывал — на два месяца хватит, а ребята, с которыми на квартире жил, налетели, как саранча, всю за неделю сожрали. Не напасешься!

Все это парень выпалил одним духом, обведя придирчивым взглядом комнату, стол, уставленный тарелками и мисками, и нас всех поочередно.

— Звать-то тебя как? — спросил Волков.

Парень улыбнулся, показав крупные и ровные зубы.

— Стало быть, Жилин я... Семен Жилин... Будем, как говорится, знакомые...— И, расставшись с чемоданом и корзиной, сняв мешок, он подал каждому из нас руку

Покончив с этим, уставился на кастрюлю, в которой Волков скреб ложкой дно.

— Никак харчиться собираетесь, мужики?

— Сообразительный! — сказал Волков.

Жилин перевел взгляд на мешок, поверх которого лежала гитара, и произнес, не то спрашивая, не то утверждая:

— По правилам, мужики, угощение полагается вам выставить.

— Обойдемся,— сказал Самарин.

Волков подмигнул ему: не вякай, мол. Я оживился, потому что всегда ощущал голод — овощная диета создавала лишь иллюзию сытости. Гермес поглядывал на Жилина с усмешкой, Нинка — украдкой, но с явной симпатией. Меня даже задело это: чего, мол, интересного нашла, парень как парень.

— Положено угощение выставлять, когда к новым людям жить приходишь! — с обреченным видом объявил Жилин.

— Обойдемся,— повторил Самарин.

Оставив ложку в кастрюле, Волков погрозил ему кулаком, я выругался про себя, Гермес продолжал усмехаться, Нинка незаметно для других посмотрелась в потускневшее зеркало, которое откуда-то приволок Волков и прикрепил на стене. После минутного замешательства Жилин присел на корточки и стал медленно распутывать узел на мешке. Засунув в него руку, извлек бутылку с тряпицей в горлышке, осторожно поставил ее на стол.

— Самогон!

— Дело.— Волков потер руки.

— С картошки гнали.

Сообщив это, Жилин снова стал шарить в мешке. Шарил он долго: видимо, не мог найти то, что искал.

— Вынь все,— посоветовал Волков,— потом обратно сложишь.

Жилин кинул на него подозрительный взгляд, начал шевелить руками проворней. Вынул кусок сала, густо обсыпанный крупной серой солью и облепленный кусочками газеты. Сало было желтоватым, волокнистым, без розоватой полоски внутри и очень тонким — всего в палец толщиной. Но у меня все равно потекли слюни.

Положив сало на стол, Жилин спросил:

— А хлеб у вас, мужики, имеется?

— Имеется,— ответил Волков.

— Где он?

Волков достал из тумбочки четверть буханки,— все, что осталось.

— Маловато.— Жилин снова нагнулся к мешку.

Кроме зачерствелого, видимо, домашней выпечки каравая, он после некоторого колебания вынул поллитровую банку, накрытую вощеной бумагой, крепко обвязанную шпагатом.

— Это, мужики, грузди. Закусь наипервейшая — сам собирал.

— Богато живешь,— заметил Волков.

— Какое! — Жилин — так показалось мне — испугался.— Хлеб с лебедой и отрубями — сами почувствуете. А сало два с половиной года в подполе хранилось. Маманя подсвинка заколола, когда немец в нашу деревню пришел и лютовать стал. Скотину отбирали, за курями, как собаки, гонялись. Маманя тогда и порешила — заколоть. Позвала соседа старика, потому как в нашем дому никого из мужчин не было — воевали все. Заплатили соседу мясом. Сало вон какое. Не нагулял жира подсвинок — одними помоями кормили, да и то не каждый день. Засолила маманя сало и в подпол спрятала, за кадушки: «Когда отец и братья возвернутся с войны, тогда и попразднуем». Не получилось! Из трех братьев только один вернулся — самый старший. Без руки вернулся и с перебитыми кишками. Пожил два месяца дома и умотал — ни слуху ни духу от него. А папаня мой, мужики, без вести пропавший. Маманя все надеется, все ждет, а у меня отболело.

— Быстро,— сказал Самарин.

— Быстро? — Жилин удивился.— Извещение в сорок третьем было, когда под Сталинградом биться кончили. А сейчас сорок шестой к концу подходит.

— Все равно быстро! — сказал Волков.— У меня отец в сорок первом погиб — до сих пор душа ноет.

— Чего зазря себя травить? — не согласился Жилин.— Самое главное, мужики, что война кончилась и жить чуток легче стало. Я себе цель поставил — образование получить. С образованием большим человеком стать можно.

— Кем же ты собираешься стать? — не скрывая иронии, поинтересовался Волков.

Жилин посмотрел на него, потом на нас. Заметил в наших глазах насмешку, обиженно заморгал и произнес:

— Давайте обедать, мужики. Жрать хочется — аж кишки сводит.

Я не стал ждать особого приглашения. Возле меня сел Волков. Около него примостился на краешке стула Гермес. Нинка и Жилин устроились рядышком.

— А ты? — Волков посмотрел на Самарина.

— Не хочу,— ответил он.

Жилин оттопырил губу.

— Стало быть, брезгуешь?

— Нехорошо, лейтенант,— с укором произнесла Нинка.

Самарин молча придвинул к столу табуретку.

— Так-то лучше,— проворчал Жилин и, отмеряя ногтем по стеклу, стал разливать самогон.

— Тебе бы аптекарем работать,— не выдержал Волков.

— Не гавкай под руку! — строго сказал Жилин и, стряхнув в кружку последнюю каплю, добавил: — Всем тютелька в тютельку, без обиды чтоб.

Волков поднял кружку.

— За что выпьем, братва?

Жилин степенно встал.

— Жизнь, мужики, и погладить человека может и побить, смотря с какого боку к ней подойти. Я за войну столького натерпелся...

— Не один ты,— перебил его Волков.— Или считаешь, мы во время войны в ладушки играли?

— Знаю, мужики, вам тоже трудно было.

— Сравнил! — Гермес рассмеялся.— Они воевали, раненые, а ты, хоть и при немцах жил, живой и невредимый.

— Это так,— согласился Жилин.— Но оккупация, мужики, тоже...

— Понятно,— сказал Волков.— Давайте, братва, за тех выпьем, кто с войны не вернулся!

Над столом жужжала, описывая круги, муха с зеленоватым отливом, привлеченная запахом сала и хлеба. Волков перекатывал во рту потухшую самокрутку. Самарин отрешенно смотрел куда-то вдаль. В Нинкиных глазах стояли слезы. Гермес сидел выпрямившись, не касаясь спинки стула.

— Стало быть, мужики...— начал Жилин.

— Замолчи,— глухо сказала Нинка.

Жилин обвел нас непонимающим взглядом, взял кусок сала, стал молча жевать его, двигая скулами. Я закрыл глаза и услышал шум боя, увидел воронки, наполненные дождевой водой, обгоревшие деревья, подбитый, почерневший от копоти бронетранспортер, сиротливо стоявшую в отдалении среди поломанных кустов пушку без колеса, с прошитым бронебойными пулями щитком. С бугра, на котором нечетко проступала в утреннем тумане околица большой деревни, строчили немецкие пулеметы. Все было мокро от дождя, выпавшего ночью. Когда мы рыли в осиновом подлеске окопы, с лопат капала вода и шлепалась жидкая грязь. Дождь был ливневым — такие осенью редкость, окопы тотчас наполнились водой; от одной мысли, что до самого утра придется торчать в них, по телу прокатывалась дрожь. Когда дождь прекратился, некоторые из нас стали выбрасывать из окопов скопившуюся в них грязь, а у меня не было сил нагнуться — с непривычки ныла спина и ломило руки. И хотя дождь перестал, с осин капало и отовсюду сочилась вода: подлесок, в котором мы окопались, находился в низинке, а тут еще этот ливень. Мы злились друг на друга, ругались вполголоса, шикали на тех, кто гремел котелками и повышал голос. На душе было неспокойно.

Нашему взводу было приказано атаковать деревню в лоб. Мы прошли трусцой метров триста и откатились назад — ударили эти проклятые пулеметы. Погрузив ноги в жижу, стояли теперь, перепачканные грязью, в окопе, с надеждой поглядывали на лейтенанта Метелкина. Он нервно протирал и снова надевал очки с тонкими металлическими дужками. Согнувшись над полевым телефоном, связист дул в трубку и монотонно бубнил.

— Алё, алё.. «Сорока»? А, «Сорока»? Алё, алё... Почему молчишь, «Сорока»?

Связь была прервана. Два бойца — сперва один, потом другой — пошли по линии и не вернулись. Метелкин прикладывал бинокль к очкам, водил им то вправо, то влево, откуда должны были поддерживать нас огнем и отвлекающим маневром первый и третий взводы. Боец Пасько — круглолицый, добродушный парень,— не спросив разрешения, пополз к пулеметным гнездам, но добрался только до пушки с изрешеченным щитком: там его настигла пуля.

— Разрешите мне, товарищ лейтенант? — обратился к Метелкину боец Ивушкин, забияка и балагур, который вроде бы ни черта не боялся и бравировал этим.

— Отставить! — негромко сказал командир взвода.

Но Ивушкин ослушался и, когда Метелкин отошел, ловко перемахнул через бруствер.

Погиб он недалеко от того места, где лежал Пасько.

Нет ничего утомительней ожидания. Видишь, откуда бьют пулеметы, даже амбразуры видишь, а сделать ничего не можешь. Вся надежда на артиллерию, а она молчит. Почему молчит — неизвестно.

Пули впивались в тонкие осинки, расщепляли кору, с противным чмоканьем вонзались в бруствер, из которого продолжала сочиться вода. Я стоял, прислонившись плечом к стене окопа, чувствовал — нательная рубаха прилипает к телу. На мне не было сухой нитки, шинель висела колоколом, я ощущал ее свинцовую тяжесть и, охваченный унынием, чертыхался про себя.

Через час, а может, через полтора связь, наконец, восстановили, и я услышал приглушенный расстоянием хриплый голос командира роты. Он обозвал нашего лейтенанта тряпкой и другими словами — похлестче, приказал немедленно подавить пулеметы.

Положив трубку, Метелкин поправил указательным пальцем очки. Это он делал часто: очки все время сползали с переносицы, и лейтенант возвращал их указательным пальцем на прежнее место. Беспомощно потоптавшись, он устремил вопросительный взгляд на одного бойца, потом на другого, на третьего. Добровольцев не было: Пасько и Ивушкин погибли на наших глазах И тогда Метелкин посмотрел на меня. «Все!» — внутри у меня что-то оборвалось. Но командир взвода перевел взгляд на бойца Родионова, сказал ему:

— Возьми две связки, и, как говорится, с богом.

Лейтенант Метелкин — этот деликатный, милый человек, от которого мы никогда не слышали ни одного бранного слова, который читал нам наизусть, когда позволяла обстановка, поэмы Пушкина и Некра-

сова, тургеневские стихотворения в прозе, который даже сейчас, на войне, учил нас добру, душевной щедрости,— посылал бойца на верную смерть и потому страдал. Я чувствовал это каждым нервом.

Я понимал: можно пожертвовать жизнью, спасая других, можно упасть и не подняться во время атаки. Почти каждый день я видел смерть, но не считал ее неизбежностью. Я надеялся, как и все. У нас были шансы. У Родионова — ни одного. Во имя чего и ради чего погиб он? О чем думал, отдавая бессмысленный приказ, командир роты? Что руководило им — жестокость, воинский долг, страх перед дисциплинарным взысканием? Я искал и не находил ответа на эти вопросы. Решил поговорить с Метелкиным после боя. Но спустя несколько часов, когда пулеметы были подавлены артиллерией, его, тяжелораненого, унесли с поля боя.

Помню лицо Родионова — широкое, скуластое, с двумя бугорками на лбу. Помню, как он полз. Шинель вставала горбом на его спине, впереди, позади, по бокам всплескивались буроватые фонтанчики — следы пуль. Помню, как он дернулся и не шевельнулся больше.

Никогда не забуду Родионова, как не забуду всех, кто погиб на моих глазах. Не верю тем, кто пишет и говорит, что люди принимают смерть с кротостью. Я таких не встречал. Вижу перекошенные от страха лица безнадежно раненных, читаю мольбу в их глазах. Пока не замутился разум, человек надеется...

Муха опустилась на стол, прильнула к хлебной крошке.

Жилин хлопнул по столу, но промазал.

— Долго, мужики, в молчанки играть будем?

Мы — Самарин, Волков, Нинка и я — посмотрели друг на друга. Мы поняли, о чем вспоминал каждый, и это еще больше сблизило нас. Покосившись на гитару, Волков спросил Жилина:

— Играешь?

— А то как же!

— Что умеешь?

— Все!

— И «цыганочку»?

— Обыкновенное дело!

— Сыграй. А я сбацаю.

Жилин взял гитару.

— Поглядим на твои способности.

Волков вышел на середину комнаты. Постоял, вслушиваясь в переборы, потом, раскинув руки, сделал стремительное движение. Шлепая по каблукам, будто смахивая с них пыль, стал неторопливо ходить вокруг стола, изобразив на лице равнодушие. Обхватив рукой гриф, Жилин то нежно пощипывал струны, то дергал их.

— Шибче! — скомандовал Волков и начал шаркать ногами.

— Стуку не слышно!— сердито сказал Жилин.

Продолжая выбивать чечетку, Волков пожаловался:

— Сапоги на кожимите. От него — никакого шика.

Сославшись на головную боль, Нина вышла подышать свежим воздухом.

Жилин неожиданно накрыл струны рукой:

— Повеселились, и хватит!

— Чего так? — удивился Волков.

— Уморился,— объяснил Жилин.— Весь путь на сидячем месте проехал — не выспался.

Жилин потуже затянул узел на мешке, дернул замок на чемодане и, не глядя на нас, сказал:

— Я, мужики, тоже пройдусь.

— Погоди,— остановил его я.— Сейчас вместе двинем.

— Я сам по себе,— проворчал Жилин и ушел.

Мы остались втроем.

Гермес выпалил:

— Нехороший человек!

Я посмотрел на Волкова.

— Жмот,— процедил он.

Мне Жилин тоже не понравился. Однако я не стал торопиться с выводами, решил присмотреться к нему, но в душе уже поселилось что-то тревожное, и я никак не мог избавиться от этого.

8

Из окон общежития падал свет. На втором этаже на фоне простеньких штор и занавесок то возникали, то исчезали женские силуэты.

Флигелек, в котором жил Игрицкий, тоже был освещен.

— Заглянем? — предложил я, кивнув на окно.

— Небось, дрыхнет или вино хлещет,— отозвался Волков.

К флигельку медленно приближался человек. Мы узнали Курбанова. Остановившись, он постучал набалдашником в крестовину окна. Показалось опухшее, обросшее светлой щетиной лицо Игрицкого. Несколько мгновений он вглядывался в Курбанова, потом, покачнувшись, отошел.

«Впустит или не впустит? — подумал я.— Если да, то я встречусь с Алией».

— Не впустит,— сказал Волков.

Я не успел ответить — тягуче скрипнула дверь.

— Входи,— невнятно пробормотал Игрицкий.

Мне сразу стало весело.

— Чудеса в решете,— сказал Волков.— Раньше не впускал, а теперь...

— Так часто бывает! — воскликнул я.— Чего не ждешь, во что не веришь, происходит.

— Верно,— подтвердил Волков.— Ты-то чего радуешься?

Велико было искушение рассказать про Алию, про первую любовь, которая наперекор всему продолжала жить в моем сердце. Я никак не мог понять, кто мне дороже — Алия или женщина с васильковыми глазами — и, наверное, поэтому промолчал.

В парке было прохладно, темно. Я шел, словно слепой, вытягивал руки, чтобы не наткнуться на деревья.

— Чего руки-то тянешь? — спросил Волков.

— Ничего не вижу.

— А у меня глаза, как у кошки.

— На юге какая-то особенная темнота — в двух шагах ни черта не различишь.

— Это тебе так кажется. Может, у тебя куриная слепота началась?

Я рассмеялся.

— Тогда это от контузии! — заявил Волков.— Сходил бы к врачам, они точно скажут.

Последний раз я был у врача в Москве, вскоре после демобилизации, когда участились головные боли. Женщина-врач сказала: «Это мигрень»,— прописала какие-то порошки. Я попринимал их две недели, а потом уехал на Кавказ. Первое время голова не болела, видимо, подействовала перемена климата, а через три месяца меня так скрутило, что я чуть не взвыл от боли.

В парке было тихо, безветренно, деревья стояли неподвижно, словно солдаты в строю. Слух обостренно воспринимал каждый шорох, и я, напрягая глаза, старался разглядеть: может, мышь прошмыгнула или — не дай бог — змея.

— Змеи тут, наверное.— Я остановился.

— Летом, говорят, заползают,— сказал Волков.— А сейчас нечего бояться: холода наступили. Полтора месяца назад ребята тут гюрзу встретили. Взяли палку, а она — в расщелину.

Недалеко от того места, где остановились мы, была лавочка — обыкновенная деревянная лавочка без спинки. Днем на ней сидели, сгорбившись, студентки с конспектами в руках. «Зубрилы»,— так отзывался о них Волков.

— Пойдем к лавочке,— предложил я.— Посидим, покурим.

— Ты же не куришь!

— Решил начать.

— Зря. Изжога от курения и кашель.

— Даже Нинка курит,— напомнил я.

— На фронте научилась! Я бы всех баб, которые пьют и курят, ремнем по мягкому месту.

Метрах в десяти от лавочки Волков замер:

— Кругом через левое плечо!

— Что такое?

— Семен и Нинка там.

— Шустрым оказался этот Жилин! Заметил, как Нинка на него поглядывала?

— Заметил.

Когда мы отошли, я подумал вслух:

— Самарин, наверное, расстроится.

— Ясное дело,— согласился Волков.— Я все время считал: стерпится — слюбится. А теперь ручаться могу: два номера лейтенант тянет — один пустой, другой порожний.

— Выбрала!..— проворчал я, обозлившись на Нинку.— Самарин человек, что надо, а Жилин куркуль.

— Не пойму,— удивленно произнес Волков,— чего они нашли в Нинке? На лицо она симпатичная — это верно, и фигурка у нее подходящая, все, как говорится, на месте, но ведь курит же она, стерва, и вино глушит не хуже мужика.

— Сегодня не пила и не курила,— сказал я.

— Ну-у?

— Только пригубила и сразу отставила кружку. А когда Самарин ей портсигар протянул, головой покачала.

— Жилина постеснялась,— решил Волков.

Он часто говорил, что Нинка пьет. Но я никогда не видел этого. Так и сказал.

— Пьет,— подтвердил Волков.— Конечно, не так, как некоторые мужчины, но сто граммов, не поморщившись, дернет.

— Это не доказательство,— возразил я.

— Для тебя нет, а для меня да! — вспылил Волков.

...Воздух становился все прохладней. Я поежился.

— Замерз? — спросил Волков.

— Немного.

— На боковую?

— Рано еще. Да и Гермесу мешать не хочется — пусть позанимается.

— Он на нашем курсе самый способный,— с гордостью сказал Волков.— Задачки, как орехи, щелкает, даже преподаватели удивляются.

— Отличный парень! — сказал я.— В тот день, когда я пришел к вам, он мне пижоном показался.

— Все мы любим пыль в глаза пускать. Даже Варька хвост веером распускал, когда к Нинке мылился.

— Неужели и такое было?

— Не вру.— Волков усмехнулся.— Я в Ашхабад в начале августа приехал, в один день с Нинкой. Варька уже тут ошивался, помогал кому делать нечего. После экзаменов решил я к Нинке подсыпаться, но увидел, что она курит и губы малюет, и отчалил. С дядей Петей познакомился, стал помогать ему котельную ремонтировать. В подвале холодно и сыро было. Поработаем, бывало, часа полтора и — на солнышко. Курим, греемся, друг друга слушаем. Однажды сидим так — Варька с Нинкой пылят. Он в глаза ей заглядывает, а она хохочет. Я Варьку сразу невзлюбил. Знаешь, как бывает: взглянешь на человека — и, как ножом, отрежет. Так и с Варькой получилось. Нинка увидела меня, подошла и сказала: «Владлен на танцы приглашает. Может, и ты пойдешь?» Я согласился, потому что вечером от скуки места себе не находил. Варька взял два билета — себе и Нинке. А у меня — ни копейки, последнюю трешницу на хлеб потратил. Делать нечего: отодрал от забора доску, выждал удобный момент и — порядок. Оркестр танго заиграл. Варька ногами кренделя выделывал — старался на Нинку впечатление произвести, а у нее в глазах смешинки стояли. Раза три они на танцы сходили, а потом она перестала обращать на него внимание. Я и так и сяк подсыпался к ней, хотел выяснить, что случилось, но она в ответ лишь улыбалась.

Я решил, что Нинка нравилась Волкову, спросил об этом. Он помолчал.

— Если бы она не пила и не курила...

— Тоже недолюбливаю таких женщин! — перебил его я.

Волков хмыкнул, неожиданно произнес:

— Сами, что хочешь позволяем, а к женщинам строги.

Пока мы бродили по парку, небо очистилось от облаков, появились звезды, крупные и ясные. Сразу посветлело. И я почему-то вспомнил, как за день до гибели Родионова сидел, подобрав под себя ноги, в окопе на влажных от росы листьях и, засунув руки в рукава шинели, подняв воротник, дремал, ловя ухом шум не утихавшего весь день боя. Этот бой происходил где-то далеко-далеко, намного южнее нашей позиции. Иногда, если докатывался особенно мощный гул, я открывал глаза, видел черное небо, усыпанное такими же яркими и крупными, как здесь, звездами. Там, где шел бой, небо красновато отсвечивало. Огненные всполохи неясно озаряли раскинувшийся позади лес. Южнее нашей позиции шел бой, а затаившиеся перед нами немцы вели себя смирно, лишь изредка постреливали наобум. В эти минуты над моей головой проносились, догоняя друг друга, трассирующие пули, похожие на стремительно летевших светлячков. Вскоре немцы смолкли, и наступила напряженная тишина, которую так не любят на фронте, потому что она — неизвестность. Такая тишина взвинчивает нервы, и ты невольно начинаешь ждать, когда засвистят снаряды, а потом под прикрытием «тигров» и «фердинандов» попрет пехота. В те дни я еще не испытал этого. Я участвовал лишь в перестрелках и небольших схватках. Танки в бой не вводились, поддерживали нас только ротные минометы да полковая артиллерия. Но бывалые солдаты рассказывали про танковые атаки, и я представлял себе, что это такое... Незаметно для себя я уснул. И, как это часто случалось на фронте, мне приснился родной дом, мама. Руки у нее были в муке, на столе возвышался холмик крутого теста, лежала скалка, стояла банка с джемом. Мать собиралась печь сладкий пирог. Раскатав тесто, она смазала противень сливочным маслом, осторожно уложила на него квадратный блин, чуть утолщенный на краях. Вывалила джем, размазала его по тесту столовой ложкой, накрыла другим

таким же блином, быстро и ловко слепила края, сунула противень в духовку, попросила меня пошуровать кочергой, чтобы жарче разгорелись угли. Я поворошил их, и они сделались золотисто-малиновыми. Наклонив голову, мать стала мыть стол, отколупывая ногтем прилипшие к столу кусочки теста. В ее густых, скрученных на затылке волосах белела седина. Я смотрел на худые, покрытые блеклыми веснушками руки и говорил сам себе: «Мамочка! Ты самая хорошая, мамочка!» За окном вспыхнула молния и ударил гром. «Гроза!» — сказала мать и, оставив на столе тряпку, побежала закрывать окно...

Кто-то пнул меня сапогом, и я проснулся. Первым делом подумал с огорчением, что мне так и не удалось отведать сладкий пирог. На правом фланге постукивал немецкий пулемет. Трассирующие пули уходили влево. Согнувшись, придерживая руками подсумки, пробегали бойцы, наступали мне на ноги, зло чертыхались. «Перебрасывают нас»,— сказал Родионов. «Куда?» — спросил я. «Про то только командиры знают»,— ответил Родионов и поторопил меня. Выбравшись из окопа, мы рванули к лесу. Вдогонку затрещали автоматы, и низко-низко пронеслись три огненные струи. Очутившись в лесу, мы отдышались и, как водится в таких случаях, стали гадать, куда нас перебрасывают. Кто-то сказал, что немцы, должно быть, прорвались на южном участке. «Не мели языком! — возразил Родионов.— Только наша рота снялась. Может, нас в резерв гонят, а может, на переформировку.— Он помолчал и добавил: — В баньке бы попариться, штец бы горяченьких похлебать, больше ничего не надо»... Мы шли по лесной дороге до самого утра. Потом наскоро порубали всухомятку и снова двинулись в путь по узкой, петляющей по лесу дороге, в колеях которой темнела вода. К вечеру небо посерело, стал накрапывать дождь. Через несколько минут он превратился в ливень. Под аккомпанемент этого ливня мы вошли, усталые и голодные, в осиновый подлесок и с ходу принялись рыть окопы. Иссеченная тугими струями земля была мягкой, и лопата, пробившись сквозь травяной покров, легко входила в грунт...

— Пошли кемарить,— сказал Волков.

Его голос возвратил меня из прошлого. Похолодало еще больше. Не верилось, что всего несколько часов назад было жарко, рубаха липла к телу. Я вспомнил про Жилина и подумал вслух:

— А Семен этот — не промах!

— Быстро они поладили,— откликнулся Волков.— Нинка на это дело слабая.

— С чего взял?

— Фронт прошла!

— Чепуха! — возразил я.

— Для тебя чепуха, для меня нет! — огрызнулся Волков.

Я снова вспомнил санинструктора Олю. Про нее тоже болтали разное, но это были только сплетни. Так и сказал Волкову.

— Послушать тебя,— проворчал Волков,— без женщин мы не победили бы.

— Победили бы,— не согласился я.— Но только война, может быть, до сих пор продолжалась бы.

Пока мы шли к общежитию, Волков задумчиво молчал. Когда между ветвей возникли освещенные окна, признался:

— Понимаешь, какое дело: до сих пор совладать с собой не могу. Как увижу какую-нибудь женщину с погонами на плечах, все во мне вверх тормашками встает.

9

Утром, заварив чай, Волков спросил Жилина:

— С нами харчиться будешь или отдельно?

Жилин проснулся позже всех. Мы оделись и умылись, а он еще долго спал или, может, притворялся.

— По скольку же складываетесь, мужики? — деловито осведомился Жилин.

— Ни по скольку.

Жилин удивился.

— В нашей комнате все общее,— объяснил Волков.— Все, что добыл или получил,— на стол!

Жилин ухмыльнулся, высвободил руки, положил поверх одеяла. Они были белые, с золотистым пушком. Застиранная голубая майка выпукло облегала грудь. Он перевел взгляд на тумбочку, где хранились наши припасы.

— Богато ли живете, мужики?

— Когда как,— ответил Волков.— Бывает, кишка кишке рапорт пишет.

— Я так и думал... Небось, на одну стипендию живете?

— На одну стипендию не прожить,— возразил Волков.— Гермес каждый месяц посылки и переводы получает, а мы на товарную станцию ходим.

...На товарной станции мы были дважды. В первый раз выгружали какие-то ящики, сбитые из неоструганных досок. Занозы впивались в кожу, а рукавиц у нас не было. Волков чертыхался, все хотел узнать, что в этих ящиках, даже попытался вскрыть один из них, но без инструментов не удалось отодрать толстые, шершавые доски, густо усыпанные большими ржавыми гвоздями. Ящики были тяжелые, и Волков, так и не узнав, что в них, сказал, поправив запястьем намокшую челку: «Должно, чугунные болванки на своем горбу носим». Во второй раз мы разгружали цемент. «Если бы в мешках была мука или сахар, то разжились бы»,— помечтал Волков.

Опустив на пол волосатые ноги, Жилин стал одеваться. Не спеша натянул брюки, обулся. Взял казенное полотенце с коричневым штампом на углу.

— Где тут, мужики, умываются?

— Умывальник в конце коридора,— сказал я.— Там ведра стоят и ковш.

Жилин направился к двери.

— Как же решил? — бросил ему вдогонку Волков.

Жилин медленно обернулся.

— Я, мужики, сам собой располагать буду.

— А поясней сказать можешь?

— Можно и поясней... Я, мужики, отдельно от вас столоваться порешил.— И закрыл за собой дверь.

Самарин усмехнулся. Гермес быстро произнес:

— Хорошо, что так получилось.

— Чего ж хорошего? — возразил Волков.— Жили мы, как братаны, а теперь...

Людей, подобных Жилину, я уже встречал, но никогда не жил с ними под одной крышей.

— Типичный куркуль,— сказал Самарин. До сих пор он никогда не говорил о людях дурно, а теперь, видимо, не мог сдержаться.

Волков выругался.

— Настроение стало хуже некуда. Надраться бы сейчас, да денег нет.

— Сегодня нельзя,— сказал Гермес.— Сегодня профсоюзное собрание.

— Там и отведу душу,— процедил Волков.— Когда настроение портится, выпить тянет и подраться хочется.

Самарин извлек из кармана помятую пачку, выудил двумя пальцами наполовину осыпавшуюся папироску, закурил. Перебросив пачку Волкову, спросил:

— Ты в детстве задиристым был?

— Каким был, таким и остался,— проворчал тот, вытряхивая из пачки папиросу.— Сколько помню себя, всегда драпся.

— Попадало тебе?

— Случалось. Один на один меня боялись, а скопом налетали. Метелили так, что кровью умывался. Зато потом я отыгрывался. И на переменках лупил кого надо и на улице. Учителя меня отпетым считали, каждую неделю мать вызывали в школу. Она, бывало, возьмет ремень и рапортует по заднице. Мать у меня маленькой была и легонькой: дунешь — полетит. А я терпел, потому что — мать. Зла на нее не держу, хотя и больно хлестала.

— Не люблю драчливых,—сказал Гермес.

— И я не люблю! — откликнулся Волков.— Хоть я и в охотку драпся, но не беспричинно, как некоторые.— Он посмотрел на Самарина: — Ты почему завел разговор об этом?

Самарин приоткрыл окно, выкинул окурок.

— Боюсь, сцепишься ты когда-нибудь с этим Жилиным.

— Нужен он мне! — отрезап Волков.

Последняя лекция кончалась в три часа, но и после трех в некоторых аудиториях оставались студенты — переписывали конспекты, беседовали с преподавателями, спорили. Уборщицы с ведрами и тряпками бродили по коридорам, открывапи двери, но никогда не выпроваживали нас.

Полуголодные, плохо одетые парни и девушки были устремлены своими планами в будущее. Некоторые из них рассуждали очень наивно, почти по-детски. Мы с Самариным переглядывапись, но никогда не высмеивали этих юнцов. И не завидовали им, как не завидовали нашим дедам, отцам, старшим братьям. Мы не сомневались, что фронтовое поколение вписало в историю нашей страны одну из самых ярчайших страниц, гордились этим, но гордились молча, не выпячивая и не подчеркивая свои заслуги; мы понимали: наши однокурсники не виноваты, что родились на несколько лет позже нас. Ощущение причастности к великому подвигу советского народа всегда пребывало в нашем сознании, и мы, еще не овладевшие знаниями, которыми были напичканы вчерашние десятиклассники, старались не ударить в грязь лицом: внимательно слушали лекции, брали у самых дисциплинированных студентов конспекты, тщательно штудировали их.

Волков стращал нас:

— Свихнетесь когда-нибудь!

Гермес тотчас напускался на него.

— Они правильно делают! А ты опять сегодня прогулял?

— Есть такой грех,— признавался Волков.

— Отчислят,— предупреждал Гермес.

— Плевать! — Волков приглаживал рукой челочку и отправлялся к своей Таське.

Когда я вернулся с занятий, Гермес сказал:

— Тебя дядя Петя ищет.

— Выписался? — обрадовался я и помчался в котельную.

Она размещалась в подвале общежития. Вход был отдельный, со двора. Дверь, обитая кусками оцинкованного железа и расплющенными консервными банками, с виду массивная, находилась в яме, примыкающей к стене. Вниз вели три деревянные ступеньки, над дверью нависала грубо сколоченная рама на двух подпорках. Поверх нее лежало источенное ржавчиной железо. В ветреные дни оно громыхало. Земля в яме и около нее была смешана со ржавчиной.

Дверь открылась без скрипа. Пахнуло сыростью. Из небольшого оконца, расположенного вровень с землей, слабо проникал дневной свет.

За дверью что-то позвякивапо.

— Дядя Петя? — позвал я.

Позвякиванье прекратилось.

— Входи, гостем будешь.

Толкнув фанерную дверь, я очутился в крохотном закутке. Вдоль стен шли трубы. Справа стоял топчан. Он был застелен ватным одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков. Перед топчаном лежал, заменяя коврик, старый мешок в заплатах. Слева на стене висел самодельный шкафчик — неказистый на вид, но прочный. Под ним примостился квадратный стол, накрытый газетой, пришпиленной на углах кнопками. С потолка свисала электрическая лампочка.

За три недели, что мы не виделись, дядя Петя сильно изменился: осунулся, щеки ввалились еще больше, глаза потускнели.

— Как живешь, вьюнош? — Дядя Петя окинул меня изучающим взглядом.

— Пока не жалуюсь. А вот вы похудели.

— Заметно?

Не хотелось расстраивать его, и я сказал:

— Не очень.

Дядя Петя достал носовой платок, гулко высморкался.

— За собой по зеркалу не уследишь, но чуйствую — сильно исхудал. Раньше брюки впору были, а теперь висят. И в рубахе ворот — две шеи уместить можно.— Он помолчал и добавил: — Видно, скоро помирать.

— Бросьте,— возразил я.— Вы еще сто лет проживете.

Дядя Петя усмехнулся.

— Столько-то даже тебе не прожить. Покуда тебя только нервность беспокоит. А пройдут года, и война опять свой норов покажет: еще какая-нибудь хворь объявится.

— Врачи-то что вам говорят?

— Толкуют промеж себя, а мне — молчок. Сказали только, что операцию делать не берутся, потому как осколок к опасному месту передвинулся.

Я решил перевести разговор на другое и спросил:

— Сайкин и Козлов выписались?

Дядя Петя покрутил головой.

— И смех и грех с ними! Козлов следом за тобой выписался. Врачи не отпускали, но он настоял. Жена к нему прибегала, сказала, что его на должность выдвинули — начальником отдела кадров. Он долго соображал, какая по важности эта должность. Сайкин от зависти с лица менялся. Ведь он шофером на той же фабрике работает — сырье возит. Теперь Козлов ему начальство. Обещал навестить и не пришел. Сайкин совсем скис: лежит и молчит... Как ты выписался, койку твою убрали, а заместо Козлова глухонемого положили. Вот мы втроем и играли в молчанку.

— Невесело было,— посочувствовал я.

— Хуже некуда! Козлов, как узнал про должность, враз на себя солидность напустил. Стал все про политику рассуждать и сурьезно так, будто он министр или еще какой чин. Сайкин по сю пору его дожидается, а я враз сообразил — даже здороваться Козлов с ним перестанет. Придет, к примеру, Сайкин печать на бланочек прибить, а Козлов схочет — впустит его в кабинет, а схочет — нет. Вот, вьюнош, что должностя с такими-то, как Козлов, делают.

— А я на неделе собирался навестить вас,— сказал я.— Извините, что раньше это в голову не пришло.
— Чего уж там,— пробормотал дядя Петя.— Вот Николай три раза приходил.
— Самарин?
— Он про все рассказывал. И про тебя.
— А нам даже не намекнул, что был у вас.
— Не любит он себя выставлять... Слышал или нет про его неприятность-то?
— Про награды, что ли?
— Про них.
— Ему жаловаться надо!
Дядя Петя вздохнул.
— Правду, вьюнош, найти — не луковицу очистить. Пока правду отыщешь, с ведерко слез прольешь, а то и поболе. Если бы я шибко грамотный был, то написал бы про Самарина.
— Куда?
— Куда надо. Может, и напишу... А я тебе письмецо принес,— сказал дядя Петя.— Она мне его еще вчера дала, когда с дежурства уходила. Меня в понедельник обещались выписать, но задержка произошла. Главврач велел напоследок еще один снимок сделать, а электричества весь день не было. Только вечером дали, когда сестра-хозяйка домой ушла. Одежка моя у нее взаперти лежала. Вот и пришлось ночевать.
Я понял, от кого письмо, возбужденно проговорил:
— Давайте скорее!
Порывшись в одном кармане, дядя Петя стал рыться в другом.
«Вдруг потерял!» — испугался я.
— Вот оно.— Дядя Петя вынул сложенную записку.— Храброй эта Алия оказалась — я даже не ожидал.
В записке была всего одна фраза: «Завтра в семь жди меня у кинотеатра. Алия».
«Сбылось!» — пронеслось в голове.
— Чего она пишет? — спросил дядя Петя, не скрывая любопытства.
— Свидание назначила.
— Не обманываешь?
— Прочитайте.— Я протянул ему записку.
— Не надо, не надо... Чуйствую, не врешь.
Я посмотрел на свои сапоги, перевел взгляд на заштопанные в нескольких местах брюки и в первый раз в жизни по-настоящему пожалел, что у меня нет приличной одежды.
— Из обновок ничего не справил? — поинтересовался дядя Петя.
— Пока нет.
Опустившись на одно колено, дядя Петя открыл чемодан, вынул поношенные, но вполне приличные брюки.
— На-ка, примерь... По случаю купил — полгода назад. Хотел перешить, да все недосуг.
Я приложил брюки к себе.
— Да кто ж так мерит? — воскликнул дядя Петя.— За штанины возьми и раскинь руки.
Я так и сделал.
— В самый раз должны быть,— сказал дядя Петя.— А теперь сыми свои, а эти надень — такая примерка надежней будет.
От брюк пахло нафталином. Складки были отутюжены.
— А пинжак у Волкова попроси,— посоветовал дядя Петя.— Он хоть и пониже тебя, но в плечах вы одинаковые.
Я снова посмотрел на сапоги.
— Обувку добуду! — пообещал дядя Петя.— У Игрицкого спрошу — он большой размер носит, хотя и невелик ростом.
— Запой у него.
— Нету уже. Сегодня в городе встретились, когда с больницы шел. Постояли, поговорили. Душевный он человек, всегда первый поздоровкается, руку подаст — не то что другие.
Я вспомнил про собрание.
— Увольнять его собираются.
— Не болтай!
Я рассказал про разговор с Владленом.
— Знаю такого.— Дядя Петя вздохнул.— Парень он вроде бы ничего... Одно нехорошо — все время около начальства трется. В прошлом годе перед Курбановым хвостом вертел, теперь другим в глаза заглядывает.
Я пропустил это сообщение мимо ушей. Сказал:
— Между прочим, прохладно тут.
— Известное дело — подвал,— согласился дядя Петя и потер бок.
— Болит?
— Временами.— Пообещав принести обувку, он добавил: — Ступай, вьюнош, а я прилягу маленько — ослаб...

10

Я боялся одного — стемнеет, Алия постесняется подойти ко мне сама, а я ее не увижу. И хотя в запасе у меня было много времени, я торопился — хотел засветло добежать до кинотеатра.
Солнце уже скрылось, воздух посинел, и я не мог понять, когда и как это произошло. Еще мгновение назад на фоне затухающего неба вырисовывались деревья, глаза различали белые платочки на головах женщин, сидящих на низеньких скамейках у калиток; только что я видел кошку, она кралась вдоль дувала, изредка останавливалась, припадала грудкой к земле, а теперь вдруг все исчезло, все погрузилось в густую черноту, и лишь долетающие от калиток голоса да изредка возникающие огоньки папиросок подтверждали: я на этой улице не один. Это ободряло меня. И еще я слышал журчание воды в арыке, через него были перекинуты узкие мосточки.
Штиблеты, которые принес дядя Петя, оказались тесными. Я стал прихрамывать, но скорости не сбавлял — хотел побыстрее очутиться у кинотеатра — и обрадовался, когда за изгибом улицы увидел ярко освещенную витрину и толпу перед ней. На афише был изображен мужчина с четким пробором на прилизанных волосах, женщина в роскошном платье и еще один мужчина — неприятный на вид, с револьвером в руке. Фильм назывался «Судьба солдата в Америке». Я видел эту картину в Москве, она произвела на меня сильное впечатление, и, странствуя по Кавказу, я много раз сравнивал свою жизнь с жизнью героя этого фильма. Получалось, что я живу хуже: у него водились деньжата, у меня же в кармане был шиш.
Я видел только тех людей, на которых падал свет, и вздрогнул, когда услышал громкое: «Нет ли лишнего билетика?» Чем ближе подходил я к кинотеатру, тем чаще меня спрашивали об этом. Я отвечал: «Нет!» — а сам, напрягая глаза, искал Алию. Но ее на освещенном «пятачке» не было.
Добежав до кинотеатра, стал бродить взад и вперед, всматриваясь в женские лица, конфузливо отворачивался, когда встречался то с лукавыми, то с недоумевающими, то с вопросительными взглядами.
Так я бродил, должно быть, полчаса, а может, и больше. Нервы были взвинчены, сердце тукало. Все чаще и чаще приходила мысль, что Алия обманула меня.

Призывно прозвучали звонки, возвестившие о начале сеанса. Опоздавшие парочки устремились в вестибюль. Освещенный «пятачок» постепенно пустел. Я еще как следует не изучил город, у этого кинотеатра был впервые и теперь подумал, что до общежития придется добираться в полной темноте, и может случиться, на безлюдных улицах не у кого будет спросить, куда и когда сворачивать. Я не сомневался, что дома Гермес начнет утешать меня, Волков съязвит, Жилин выдаст какую-нибудь тираду, а Самарин, как всегда, промолчит, но в его молчании будет сочувствие. Раздосадованный, я даже мысленно все же не смел обругать Алию. Окинув взглядом опустевший «пятачок», медленно двинулся обратно, стараясь идти вблизи арыка: похожее на детский лепет журчание воды служило мне ориентиром. Я надеялся, что арык выведет меня, если не к общежитию, то хотя бы на одну из освещенных улиц.

Не успел я сделать и пяти шагов, как меня окликнула Алия. Ее голос раздался совсем рядом. Я растерялся и обрадовался одновременно, стал всматриваться туда, откуда прозвучал ее голос, но ничего не увидел.

— Алия? — взволнованно позвал я и почувствовал — до нее можно дотянуться рукой. Обескураженно пробормотал: — Куриная слепота у меня.

— Правда? — спросила Алия, и я, восхищенный ноткой участия в ее голосе, несмело поднял руку и, прикоснувшись к мягким, словно тополиный пух, волосам, осторожно погладил их.

Алия не отпрянула — взяла меня под руку и повела куда-то. Я не противился, не спрашивал, куда мы идем, молил бога только о том, чтобы Алия не отошла.

Из раздвинувшихся облаков выползла луна. Я, наконец, увидел Алию и, не скрывая восторга, выдохнул:

— Какая ты красивая!

— Вот как? — удивилась Алия.— Ты, оказывается, все видишь.

— Если бы не луна...— стал оправдываться я.

— Действительно, посветлело,— перебила меня Алия и стала озираться. Чувствовалось, что она чего-то боится.— Пойдем отсюда,—заторопилась и увлекла меня в проход между дувалами.

Там было темно. Алия шла впереди, ведя меня за руку. От ее волос исходил дурман. Хотелось уткнуться в них лицом и замереть.

— Постоим? — предложил я.

— Только не здесь.

— Почему?

Не останавливаясь, Алия сообщила шепотом:

— В этом квартале азербайджанцы живут. Если увидят нас вместе, побьют тебя.

Иногда проход расширялся, иногда становился таким узким, что приходилось протискиваться бочком. «Как по окопу идем»,— подумал я. Показалось: сейчас повиснет осветительная ракета, закашляет пулемет, кто-нибудь из бойцов выругается спросонья, поерзает и снова спрячет голову поглубже в поднятый воротник.

Проход вывел нас в переулок, застроенный одноэтажными домиками. Дувалов тут не было. Дома разделялись сложенными из дикого камня оградами — не очень высокими, но и не низкими. Все дома имели ставни — из щелей просачивались узкие полоски света.

— Здесь русские живут,— сообщила Алия и, как показалось мне, перевела дух.

— Ты в самом деле боялась? — спросил я.

Алия кивнула.

— Ты не любишь жениха,— сказал я, стараясь говорить уверенно.

— Допустим,— сухо произнесла Алия.

— Предлагаю тебе руку и сердце! — выпалил я.

Алия рассмеялась.

«Я никого не любил так, как люблю ее»,— решил я и почувствовал — обманываю сам себя: та женщина, с которой я сблизился на Кавказе, по-прежнему была в памяти.

Мы шли вдоль узкой улицы, едва освещенной слабыми лучами, проникающими из-за ставен.

— Завтра встретимся? — спросил я, стараясь заглушить обиду оттого, что Алия мне не ответила.

— Завтра нет, а послезавтра да,— ответила она.— Жди меня полвосьмого на том же самом месте, у кинотеатра.

— А твой жених?

Алия, чуть помедлив, ответила:

— Он уехал.

— Куда?

— В Кушку — он служит там.

Слава богу, обрадовался я и стал уговаривать Алию поскорее расписаться со мной, чтобы никогда не разлучаться. Я обещал ей молочные реки и кисельные берега, предлагал уехать. Я был весь во власти мечты, не понимал, что все, о чем толкую, бред, фантазия. Но я верил в то, что говорил, и, показалось, заразил этим Алию.

И удивился, когда она вдруг сказала:

— Это невозможно.

— Возможно! — возразил я.— Если люди по-настоящему любят друг друга...

— А кто сказал, что я люблю тебя?

— Важны не слова — поступки! — выпалил я.— Ты же видишь, что я люблю тебя. И ты здесь, со мной.

Алия поправила волосы.

— Все не так просто, как тебе кажется. Я всегда хорошо жила — даже в самые трудные военные годы. Я, наверное, не смогла бы жить так, как ты сейчас живешь, как другие живут.

Я подумал, что до стипендии еще десять дней, а у нас на всех, не считая Жилина, килограмм вермишели, полбутылки хлопкового масла, а сахара нет. И денег нет. Ведь нельзя же называть деньгами несколько мятых трешниц, из которых половина уйдет на хлеб, а на остальные можно будет купить лишь три-четыре килограмма овощей.

Еще в больнице я понял, что Алия живет в достатке. Она нарядно одевалась, никогда не жаловалась, как другие сестры и нянечки, на трудности с питанием. И вот сейчас она подтвердила сама, что живет намного лучше других. Ее слова кольнули меня. И только. Недаром же говорится, что любовь слепа.

— Поздно уже,— вдруг сказала Алия Щелкнув крышкой, посмотрела на маленькие часики, висевшие на цепочке в вырезе платья.— Ого!

— Я провожу тебя.

— Лучше — я.

— Как хочешь.

— Рассердился?

— Н-нет.

— Рассердился! — Алия взяла меня под руку.

Она жила в собственном доме родителей, недалеко от нашего общежития. Я много раз проходил мимо ее дома. В отличие от других домов его окружал не дувал, а решетчатая изгородь, обвитая виноградом. За ней виднелся дом — двухэтажный, с застекленной террасой, тоже обвитой виноградом. Каждый раз, проходя мимо, я думал: «Живут же люди!»

Алия сказала, что один раз видела меня, когда я проходил с ребятами.
— А, около больницы? — поинтересовался я.
— Тоже,— ответила Алия.— Ты стоял у газетной витрины и делал вид, что читаешь.
— А он? — Это выскочило неожиданно.
— Он на тебя и внимания не обратил,— сказала Алия. И добавила: — Не спрашивай больше про него. Хорошо?

Алия повела меня к общежитию в обход своего дома, по другой улице — такой же узкой, как большинство улиц Ашхабада. Влажноватая пыль проникла сквозь дырочки в штиблетах, я ощущал ступнями песчинки — они покалывали кожу. Небо казалось бархатным. Луна светила так, словно старалась побыстрее израсходовать свою энергию. Алия спросила, как у меня с учебой, и довольно кивнула, когда я ответил:
— Полный порядок!
И сразу же схватила меня за руку:
— Слышишь?
— Н-нет.
— Какой же ты, право,— с досадой произнесла Алия.
И тут я услышал шаги.
— Они,— сказала Алия.
— Кто?
Она не ответила.
Держась в тени дувала, к нам приближались четверо.
— Знаешь их? — спросил я.
— Самого высокого Ахмедом зовут — он кунак моего жениха.
«Что же делать? — забеспокоился я.— С четырьмя мне не справиться».
— Беги,— шепнула Алия.— Мне они ничего не сделают. У меня неприятности утром начнутся.
В голове родился план: задержу парней — Алия тем временем смотается. Если кто-нибудь подтвердит, что она была в другом месте, все обойдется.
Наскоро пересказав это ей, я приказал не допускающим возражения тоном:
— Жми!
— А ты?
— Жми, тебе говорят!
Парни были уже близко. Тело обмякло, к горлу подкатился ком, ноги ослабли — так всегда со мной бывало перед дракой. Я пересилил страх — смело шагнул к парням.
— Чего надо?
Один из них ринулся за Алией. Я подставил ему ножку. И сразу посыпались удары. Закрывая лицо локтем, я стал медленно отступать, молил бога только об одном — не упасть бы, изредка выбрасывал вперед кулак и ликовал, когда мой удар достигал цели. Луна внезапно исчезла, стало очень темно. Лишь по прерывистому дыханию и шорохам я определял, где они, эти парни. Они били меня молча. «Алия, должно быть, уже далеко»,— решил я и, выбиваясь из последних сил, побежал, прихрамывая, к общежитию. Парни не отставали. Я слышал их хриплое дыхание, даже ощущал его спиной. «Еще чуть-чуть, и каюк...»,— промелькнуло в голове.
Опять показалась луна, и я увидел, что до общежития осталось метров сто. Отбиваясь руками и ногами от наседавших парней, истошно крикнул:
— Волков!.. Самарин!.. Гермес!..
С шумом раскрылось окно.
Пнув меня напоследок в живот, парни бросились наутек.
Я упал.

— Живой? — Около меня остановился Волков. Он был в неподпоясанной гимнастерке, в руке держал ремень.— Куда они рванули?
От боли я не смог вымолвить ни слова, слабо махнул рукой.
Следом за Волковым примчался Самарин, тоже с ремнем в руке. Гермес помог мне подняться на ноги, и я, кривясь от боли, поплелся вместе с ним к общежитию...

— Смылись! — зло произнес Волков, возвратившись в общежитие излюбленным способом — через окно. Приблизив к моему лицу керосиновую лампу, которой мы пользовались после двенадцати, присвистнул: — Как они тебя!
Я видел свой нос — распухший, похожий на картофелину. Зубы шатались, на губах пузырилась окровавленная слюна, руки и ноги были в синяках, в животе ощущалась тупая боль.
Вошел Самарин. Кинул на кровать ремень. Покосившись на меня, стал молча разуваться.
— Глянь, лейтенант, как они его! — воскликнул Волков.
— Не слепой.— Самарин стянул сапоги, швырнул под кровать: обычно он аккуратно ставил их возле двери.
Гермес принес тазик с водой, помог мне умыться. Вода сразу побурела.
— Сейчас еще принесу — похолодней.— Гермес вышел.
Жилин до сих пор не проронил ни слова — с интересом слушал и смотрел.
— А ты чего не побежал с нами? — повернулся к нему Волков.— В нашей комнате обычай: один за всех, все за одного.
— Не заводись,— сказал Самарин.
— А я и не завожусь,— вспылил Волков.— Я дело говорю.
Снова появился Гермес. От холодной воды мне полегчало.
— На боковую? — спросил Самарин.
Жилин быстро разделся, произнес с коротким смешком, посмотрев на меня:
— Стало быть, это ты пятился и руками впустую молотил?
— Их же четверо было... — виновато пробормотал я.
Волков насторожился:
— А ты, Жилин, как очутился там?
— Гулял.
— Один?
— А тебе какое дело?
— Ладно, ладно,— миролюбиво произнес Самарин.— Расскажи, что дальше было.
— Ничего не было,— откликнулся Жилин.— Вижу: четверо одного молотят — я и отвалил.
— И не заступился? — ужаснулся Гермес.
— Зачем? — Жилин удивился.— Может, за дело молотили.
— Но ведь четверо же!— сказал Волков.
Жилин ногами расправил одеяло, откинул на него простыню.
— Я, мужики, в драки не встреваю. Если бьют, стало быть, за дело.
Волков выругался.
— Ты не очень-то разоряйся,— кинул ему Жилин.— Привыкли на войне язык распускать и рукам волю давать. А тут не война, тут все по-правильному должно быть.
— Как? — спросил Самарин.
— Так,— пробормотал Жилин и отвернулся к стене.

Волков зло усмехнулся, снял гимнастерку.

— Сам разденешься или помочь? — наклонился ко мне Гермес.

— Сам.

Загасив лампу, мы несколько минут молчали. Потом Волков спросил меня:

— Запомнил их?

— Запомнил.

— Если встретимся, покажешь!

— Один на один я сам справлюсь. А если снова четверо будут, покажу.

— Заметано,— согласился Волков.

Начался дождь — первый за время моего пребывания в Ашхабаде. Упругие струйки разбивались о стекла. Они тоненько дребезжали, словно жаловались на что-то.

— Дожди у нас редкость,— сказал Гермес.

— А снег? — спросил Жилин.

— Выпадает. Только тает быстро.

Под аккомпанемент дождя я задремал. И вдруг услышал какой-то шорох.

— Ты чего, Миш? — спросил Самарин и чиркнул спичкой.

Волков сидел на корточках у раскрытого чемодана, на ладони лежал замасленный «парабеллум».

— С ума сошел! — Я почему-то испугался.

Самарин зажег лампу, протянул к Волкову руку:

— Дай!

— Отзынь, лейтенант,— устало откликнулся тот.— Я не маленький, палить зазря из этой «дуры» не буду. Но, если четверо нападут, кого-нибудь шлепну!

— И сядешь,— сказал я.

— Плевать!

— Дай! — повторил Самарин.— Узнают про «пушку» — не обрадуешься.

— Откуда узнают-то?

— Мало ли откуда.

Повернувшись к Жилину, Волков отчеканил:

— Если заложишь, как вошь пришибу!

— Не запугивай,— проворчал Жилин и посмотрел на «парабеллум». Нехорошо посмотрел, жадно.

Завернув «парабеллум» в промасленную тряпку, Волков сунул его в чемодан и перевел взгляд на Жилина:

— Не обижайся, но ты не поймешь, какой, поэтому и предупредил тебя.— И захлопнул чемодан.

— Не дури,— сказал Самарин.— Хранение огнестрельного и холодного оружия без специального разрешения запрещено. Если мне не веришь, в уголовный кодекс загляни. Надо сдать!

— Знаю! — огрызнулся Волков и, двинув пяткой по чемодану, загнал его под кровать.

Спать уже не хотелось. Боль стихла. Я вспомнил про профсоюзное собрание и воскликнул:

— Чего же вы про Игрицкого ни гугу?

Волков сразу оживился.

— Было дело под Полтавой.

— Рассказывай!

— Поздно уже.

— Все равно не уснуть,— сказал Гермес.

Волков посмотрел на Жилина:

— Не возражаешь?

— Мне шум не помеха,— отозвался тот.— Только огонь задуйте.

Волков дунул в лампу. Пламя повалилось набок и погасло.

— Значит, так,— начал Волков.— Ввалились мы в конференц-зал, а там уже яблоку негде упасть — почти все места заняты. Глядим — Варька пыхтит: локотком папку прижал, в руках стул. В проходе уселся, перед самым помостом. С таким расчетом устроился, чтоб начальство его видело. Спервоначала все шло, как положено. Председатель профкома речь толкнул — целый час цифрами сыпал и фамилии склонял. Прения начались — еще полчаса из пустого в порожнее переливали. Потом вылез на трибуну один тип — всего два раза его в институте видел, да и то мельком — и обрушился на Игрицкого: до коих пор, мол? И пошло-поехало. Один за другим поднимались на трибуну люди-человеки, и все как по бумажке, шпарили. Я враз сообразил — подготовленные. Курбанов подбородок на набалдашник положил и хоть бы шелохнулся. А я на сиденье ерзал. Тут Самарин и сказал: «Давай!» Я писульку в президиум накатал: прошу-де слова. Начал говорить — затихли все. Понял—слушают...

— Ты хорошо говорил,—перебил Волкова Самарин.— Только волновался сильно.

— А как было не волноваться,— возразил тот,— когда на человека напраслину льют? Я этого не люблю. Говорить надо по существу, а то, что у Игрицкого лекции неинтересные,— брехня.

— Курбанов тоже выступил,— сказал Гермес.

— А Владлен? — спросил я.

— Мимо.— Волков не скрывал своего разочарования.— На сей раз чутье подвело меня.

— Оно часто тебя подводит,— уточнил Самарин.

«Сейчас начнут препекаться»,— решил я. Но в это время Гермес сказал:

— Наша Нина решила шефство над Игрицким взять.

— Бабы, они все одинаковые,— задумчиво произнес Волков.— Одним словом, жалостливые.

Мы потолковали еще с полчаса. Напоследок Самарин предупредил Волкова:

— Учти, «парабеллум» все равно отберу!

— Попробуй,— сонно проворчал тот...

11

На следующий день произошло ЧП. Как только я вошел, Волков сказал:

— «Пушку» свистнули.

Я лишь промычал в ответ — настолько это сообщение показалось мне неправдоподобным.

— Все перерыл! — воскликнул Волков и с надеждой в глазах уставился на меня.— Может, я его вчера в другое место сунул?

Я хорошо помнил — в чемодан. Так и сказал.

— Наверно, кто-нибудь из ребят пошутил,— предположил я.

— Ничего себе шуточка! Впрочем, может быть, ты и прав.— Чувствовалось, он схватился за мои слова, как утопающий за соломинку.

— Самарин предупреждал — все равно отберет,— сказал я.

Волков прошелся по комнате, засунув руки в карманы, пнул ногой чемодан.

— Только не он! Лейтенант в таких делах слишком... как бы это сказать...

— Щепетильный?

— Вот-вот.— Волков кинул взгляд на кровать Жилина.

Я вспомнил, как посмотрел Жилин на «парабеллум», и сказал:

— Между прочим, он нехорошо смотрел на твою «пушку».

Волков сел на подоконник, поболтал ногой.

— Но если вдуматься, разве дурак он? Его же первого заподозрят, поскольку новенький он. Это Жилин должен был учесть.

Самарин — он появился минут через пять — не на шутку встревожился, когда Волков рассказал ему о пропаже.

— Страшней всего не сама кража,— сказал лейтенант,— хотя, это, конечно, мерзость, а то, что «парабеллум» сейчас неизвестно в чьих руках и для чего украден, тоже неизвестно.

— Жилин спер — больше некому! — заявил я.

Послышались шаги, вошел Гермес — радостный, сияющий.

— Перевод получил! — выпалил он.

Гермес получал переводы часто. Кроме отца, ему присылали деньги родственники. Он никогда не утаивал от нас ни копейки Отдавая деньги Волкову, просил.

— Купи сегодня чего-нибудь вкусненького — рахатлукума, например, или халвы.

Гермес был сладкоежкой, и мы снисходительно усмехались, когда он наваливался на сладости, которые иногда покупал ему Волков. Я тоже любил конфеты и все прочее, но не признавался в этом, говорил, подражая Волкову, что сладости — тьфу, что для мужчины главное — мясо.

Обычно я шумно радовался, когда у нас появлялись деньги, а на этот раз даже сердце не екнуло.

— Неприятности? — заволновался Гермес.

— И еще какие,— сказал я.— У Волкова «пушку» сперли!

— Это Жилин,— сказал Гермес.

— Больше некому.

— Почему так решил? — Волков устремил на Гермеса цепкий, подозрительный взгляд.

Гермес смутился. Запинаясь, пробормотал:

— Значит, вы подумали...

— Брось! — сказал Самарин.

Гермес хлюпнул носом. По его щекам потекли слезы, оставляя на коже светлые полосы. Гермес старался сдержаться, он стыдился этих слез, но они текли и текли.

Я догадывался о том, что происходит сейчас в его душе. Всего полчаса назад, разговаривая с Волковым, я испытал то же самое. До сих пор в моей душе шевелилось что-то, и я, украдкой поглядывая на Волкова и Самарина, спрашивал сам себя: «Неужели и меня подозревают?»

— Успокойся.— Самарин потрепал Гермеса по плечу.

— Ага,— подхватил Волков.— Развел, понимаешь, сырость. Утопишь нас в соленой воде, а нам пожить хочется.

Гермес улыбнулся, стал размазывать слезы по лицу.

— На.— Самарин протянул ему носовой платок.

Вошел Жилин. Я уставился на него, но ничего подозрительного не обнаружил.

— Чего не поделили, мужики? — весело спросил он.

Некоторое время мы молчали, провожая Жилина взглядом: он прошел к своей кровати, сел, откинувшись к стене, усмехнулся.

— А ну отвечай,— сказал я,— не брал «парабеллум»?

— Что-о? — Жилин выпрямился. Спустя мгновение с расстановкой произнес: — По-нят-но.

— Есть такое подозрение,— поддержал меня Волков.

Жилин встал.

— Я уже давно сообразил, мужики, еще когда только пришел сюда: если случится что в этой комнате, я буду виноватый. Вы тут одна шайка-лейка, а я человек новый. Вам, я это сразу приметил, Семка Жилин не ко двору пришелся. Но что поделаешь, когда вы такие, а я такой.

«Правильно рассуждает,— решил я.— У него свои взгляды, у нас свои. И тут ничего не попишешь».

— Выходит, испарилась «пушка»? — в упор спросил Волков.

— Зачем испарилась? — Жилин посмотрел на Самарина.— Может, кто-нибудь из вас взял.

На виске лейтенанта затрепетала жилка.

— На что намекаешь?

— А чем ты лучше других? Один человек объяснил мне — и ты не без греха.— Жилин посмотрел на грудь лейтенанта — на то место, где должны были находиться ордена.

— Сволочь! — вырвалось у меня.

Жилин резко повернулся ко мне.

— Не обзывайся. Для тебя и Волкова лейтенант — авторитет... Да еще для Гермеса, а для меня он как все. Каждый из нас мог револьвер взять, а он и подавно, потому что вчера грозил — это все слышали: «Отберу!»

— Говори, Жилин, да не заговаривайся! — воскликнул Волков.— Самарин, как господь бог, вне подозрения.

— Это я так, к слову,— сказал Жилин.— А может, мужики, револьвер кто-то чужой уволок.

— Чепуха! Кто, кроме...

— Погоди,— перебил меня Жилин.— Выслушай сперва, потом уж разевай рот... Окна-то у нас, мужики, целый день растворены Так ведь?

— Так.

— А он,— Жилин перевел взгляд на Волкова,— только через них ходит. Дверь для него — не дверь... Скажи людям, Волков, утром, небось, обратно в окно выходил?

— Ну.— Волков кивнул.

— И когда с института шел, тоже в него?

— Ну.— Волков снова кивнул.

— Вот и донукался! Обокрасть нас — плевое дело.— Жилин демонстративно выдвинул из-под кровати чемодан.— Поглядеть надо — все ли цело

Самарин посмотрел на Волкова, Волков на меня, я на Гермеса. Жилин рылся в чемодане.

— Все цело? — с подначкой спросил я.

— Бог миловал,— ответил Жилин.— Свои чемоданы проверьте, мужики, спокойней будет.

Мне проверять было нечего. Самарин и Гермес лишь заглянули под кровати, открывать чемоданы не стали. Волков сказал:

— У меня все на месте — только «пушки» нету.

В дверь постучали.

— Не помешаю? — Это был дядя Петя.

— Конечно, нет.

Дядя Петя посмотрел на каждого из нас:

— Бранились?

— Неприятность у нас,— ответил Волков.

— Какая?

— Крупная.— Волков замялся.

Самарин положил руки на колени, пружинисто встал.

— Чего смолк? Выкладывай!

— Валяй ты.— Волков стал крутить тесемку на подушке.

Самарин предложил дяде Пете стул, поскрипел сапогами.

— «Парабеллум» у Мишки украли, а кто — неизвестно.

— «Парабеллум»? — Дядя Петя даже привстал от удивления. Белесые брови сомкнулись на переносице.— С обоймой?

По-прежнему теребя тесемку, Волков подтвердил:
— С ней.
— На кой же npax ты приволок его?
— На память. Из той самой «пушки» фриц три раза подряд в меня лупанул, но пуля только мочку задела.— Волков притронулся к уху, на котором был шрамик.— Кровищи, доложу вам, как на скотобойне было!

— Вот оно что! — Произнес дядя Петя.— Для памяти мог бы что-нибудь другое взять.

Я не согласился с дядей Петей. Во время войны я не раз и не два держал «парабеллумы» и «вальтеры» в руках и даже палил из них, но только по самодельным, неподвижным мишеням. Чаще всего это случалось в те немногие дни, когда немцы отрывались от нас, и мы, если не было приказа наступать, на всю катушку использовали нежданный и негаданный отдых: латали гимнастерки, стирали носовые платки, подворотнички, портянки, жарили в самодельных вошебойках одежду, подстригались у ротного парикмахера, короче говоря, за несколько часов успевали сделать то, на что в другое время не хватило бы и суток. Умудрялись выкроить полчасика и для прочих дел. Сердцееды заигрывали с местными девушками, любители покемарить устраивались где-нибудь в тенечке и, защитив лицо от мух, посапывали в обе ноздри, а я отправлялся в ближайший лесок. Нацепив на сук пустую консервную банку, мы с молодыми солдатами упражнялись в стрельбе. Палить из винтовок и карабинов было неинтересно — это делали почти каждый день, а трофейное оружие возбуждало любопытство; мы сравнивали его с нашим, придирчиво рассматривали каждый винтик и, конечно же, восхищались «парабеллумами» и «вальтерами». Мы палили до тех пор, пока не кончались патроны. Потом или выбрасывали немецкое оружие, или отдавали его старшине. Нахмурясь, он всегда спрашивал: «А патроны где?» «Не было»,— отвечали мы. «Опять баловались»,— ворчал старшина и опускал пистолет в карман широких галифе...

— Поговаривают, с-под полы трофейным оружием торгуют,— сказал дядя Петя.— За «вальтер», сказывают, пять тыщ дают. Для разбоя покупают... А ведь я к вам по делу, вьюноши,— вдруг спохватился он.— У Валентина Аполлоновича уборка с перетруской после ремонта — подсобить надо.
— Пойдемте.— Я встал.

У Валентина Аполлоновича хозяйничала Нинка. Сидя на корточках, сомкнув колени, она яростно терла влажной тряпкой ножку квадратного стола — замызганного, покрытого бурыми и жировыми пятнами. Колени у Нинки были гладкими, круглыми, суконная юбка все время сползала с них. Она одергивала ее свободной рукой и смущалась, чувствуя на себе взгляд Валентина Аполлоновича, который, бестолково мотаясь по комнате, хватал то стул, то пачку старых журналов, обвязанных веревками, и озирался, отыскивая не запачканное побелкой место. В комнате все было сдвинуто, разбросано, с облезлого шифоньера свешивались газеты, на полу белели отпечатки подошв.

Дядя Петя, красный от натуги, двигал к дальней стене шифоньер. Валентин Аполлонович суетился возле, толкал шифоньер тонкими руками. Пользы от него не было.

— Уйди, Аполлоныч, от греха подальше,— прохрипел дядя Петя, налегая худым плечом на шифоньер.
Я молча отстранил его, показал силу.

— Вот она, молоды! — сказал дядя Петя, вытирая рукавом вспотевшее лицо. Оно посерело еще больше, морщины стали глубже, в глазах появилась усталость; дышал он часто, облизывал сухие губы.
— Вам нельзя тяжести двигать,— напомнил я.
— Мне много чего нельзя, вьюнош,— возразил дядя Петя,— а приходится. Каждый день уголь лопачу и саксаул колю — это тоже тяжелое дело.

Нинка принесла ведро горячей воды. Переобулась. Вместо щегольских сапожек надела старые галоши, которые, видимо, когда-то носил Валентин Аполлонович. Она стала мыть пол, а мне велела починить стулья.

— А мне что делать? — Валентин Аполлонович перевел на Нинку беспокойный, бегающий взгляд.

— Сядь! — сказал ему дядя Петя.— Без тебя обойдутся.

— Неудобно,— возразил Валентин Аполлонович и снова посмотрел на Нинку. По выражению его глаз можно было определить, что он смущен, растерян, что женщина в его доме — явление сверхъестественное, что он не помнит, когда приходила к нему женщина в последний раз.

Нинка не обращала на нас внимания: то скребла пол кухонным ножом с поломанной деревянной ручкой, то терла куском кирпича, то, плавно водя тряпкой, смывала грязь. Я вспомнил, как драил полы в армии, и подумал, что мужчины даже тряпку выкручивают по-другому, что женщины это делают ловчей и, если так можно выразиться, изящней. А стирка? Я видел, как стирают женщины, погружая распухшие от горячей воды руки в невесомую, оседающую с тихим шелестом мыльную пену, как, согнувшись на деревянных мостках, выдвинутых в реку или пруд, полощут белье, как с размаху обивают его, неизвестно для чего, обо что-нибудь твердое. Я пробовал подражать им, но у меня все получалось не так. Почему-то всегда не хватало мыла, приходилось выклянчивать у старшины лишнюю четвертушку, а женщины каким-то образом ухитрялись выстирать гору белья обмылком. Я втайне восхищался этим, сравнивал сохнущие на траве подворотнички, носовые платки и портянки с рубашками и простынями, выстиранными женской рукой, и каждый раз убеждался, что по белизне они намного превосходят предметы моего обихода. А о верхней одежде и говорить нечего! Чем я только не тер свою гимнастерку, даже песком, но на ней все равно оставались пятна и следы пота. «Это не отстирывается»,— утешал я сам себя. Так я думал до тех пор, пока моя гимнастерка не очутилась в корыте сердобольной женщины. Она отмыла все пятна и въевшуюся в ткань грязь. После этой стирки гимнастерка стала чуточку белесой и долго-долго пахла утюгом и весенним воздухом, на котором сушилась.

И сейчас, глядя на Нинку, я думал, что умение мыть, стирать, штопать у женщин от природы, что выражение «чувствуется женская рука» обозначает уют, чистоту, тепло и многое-многое другое — то, чего так не хватает одиноким мужчинам, к чему они стремятся, но стремятся подсознательно, не признаваясь в этом даже себе. Волков был, безусловно, хозяйственным малым — этого у него не отнять; он умел комбинировать, планировать, раздобывать и доставать; в продмаге, где мы отоваривали продуктовые карточки, он был своим человеком, и все равно наш старшина, как в шутку мы называли его, не мог ни купить, ни сготовить так, как это делали женщины. В нашей комнате всегда был порядок. С дотошностью самого настоящего старшины Волков следил за тем, чтобы каждый день подметали пол, чтобы котелки, кружки и ложки блестели, он ругался с кастеляншей, когда не менялось в срок постельное белье, стыдил Гермеса, который никак не мог



научиться заправлять кровать, он даже Самарину «делал втык», когда тот стряхивал на пол пепел или, смяв окурок, воровато бросал его в угол. И все же наша комната разительно отличалась от тех, в которых жили девушки. Там на окнах были шторы, над кроватями пестрели самодельные коврики, на стенах висели фотографии и пришпиленные кнопками картинки из «Огонька»; на тумбочках лежали какие-то коробочки и стояли флаконы с остатками одеколона. Они расходовали его бережно — по нескольку капель в день. А мы извели флакон одеколона меньше чем за неделю. Из нашей комнаты в те дни несло, как из парикмахерской, и Нинка, морща нос и смеясь глазами, говорила:

— Дорвались! Разве так можно? Надо понемножку, а вы в горсть наливаете.

...Нинка продолжала мыть пол, гоняла нас с места на место, велела разуться, и Валентин Аполлонович, прошлепав босыми ногами к исправленному стулу, осторожно опустился на него и затих.

— Нате.— Нинка кинула ему тапочки, которые лишь условно можно было назвать обувкой — такими потрепанными были они.— Завтра на базар сходите — там этого добра много.

Валентин Аполлонович молча кивнул.

Чувствовалось, он удручен, сконфужен. Он стеснялся убогой обстановки — облезлого шифоньера, тощего матраца, расшатанных стульев. Может быть, в эти минуты Игрицкий спрашивал себя, как случилось, что он, кандидат наук, дошел до жизни такой. Возможно, Валентин Аполлонович и не думал так — ему просто было стыдно. Я обратил внимание на его пальцы: они шевелились, как у слепого, словно пытались что-то нащупать, но ничего не находили.

Нинка устала. Ее волосы растрепались, под глазами появилась синь, кожа на губах лупилась. Она домыла окно и стала собираться.

Валентин Аполлонович несмело взглянул на нее:

— Может, чаю выпьете? У меня, кажется, и сахар есть.

Нинка отказалась. Игрицкому хотелось отблагодарить Нинку, но он, видимо, постеснялся меня.

12

Волкову нравилось быть нашим старшиной. Но иногда ему словно вожжа попадала под хвост — он начинал выламываться.

— Опять мне на базар идти? — брюзжал Волков.— Что я, нанялся? Пускай кто-нибудь другой сходит.

Мы с Гермесом наперебой упрашивали его. Самарин не обращал внимания на эти штучки-дрючки.

— Все! — орал Волков.— Теперь поочередно ходить будем! — И было непонятно: всерьез он говорит или только пугает нас.

Виртуозно выругавшись напоследок, Волков все-таки отправлялся на базар, по-бабьи нацепив на руку корзину — широкую, как лохань, потемневшую от старости, но все еще прочную. Эту корзину он очень берег, говорил, что с ней ходила на базар мать, умершая в одночасье перед его возвращением с войны. Она работала кассиршей в проммаге, всю жизнь, так говорил Волков, считала чужие деньги, своих недоставало: отец погуливал, домой приносил мало.

— Я, видать, в него,— не то в шутку, не то всерьез сообщал Волков.

О смерти матери он узнал в день приезда, когда навстречу выбежала сестра, радуясь его возвращению и рыдая одновременно.

— Кроме этой сеструхи, у меня теперь никого нет,— часто говорил Волков.— Но она, сеструха, тоже отрезанный ломоть. Замуж, соплячка, вышла. Я не поверил, когда узнал, что у нее парень есть. На фронт уходил — она еще малолеткой была. Так и продолжал относиться к ней. Увидел хахаля под окнами — погнал. Она — в рев. Так слезы лила, что сыро стало. А я одного боялся: задурит ей голову, попользуется — и в кусты. Стал с подходцем объяснять, что и как, свои дела вспоминал, хотя, конечно, не докладывал ей про них. А она свое: «Все равно встречаться буду!» Распсиховался я, хотел ремнем стегануть ее по заднице, но вдруг понял: уже не малолетка она. Сказал: «Черт с тобой — гуляй!» А сердце все ж болело. Когда сеструха из кино или с танцев долго не возвращалась, места себе не находил. Решил потолковать с тем парнем по-свойски, да не успел: он сам пришел — с бутылкой. Так, мол, и так, сказал, мы пожениться надумали. Я, конечно, характер показал, но он тоже языкастым оказался. Это мне понравилось. Такой в обиду не даст, а если сам обидит — на то он и муж. С двадцать седьмого года он, однако не в армии: одна нога у него короче другой. Прихрамывает, но незаметно. Во время войны на мебельной фабрике вкалывал — ящики для снарядов сбивал и прочую тару. А теперь столы, стулья и диваны делает. Столяр он классный. Сам про это читал в городской газете и портрет его видел в центре города на Доске почета. Сеструха пишет — хорошо живут. Он в наш дом перебрался. Всю мебель в доме починил, а теперь по вечерам и по воскресеньям в сарае возится — шифоньер строит и детскую качку. Значит, скоро. У желторотых с этим делом никакой мороки. Только поженятся,— глядишь, молодая уже детенка ждет. Пускай живут, как хотят. Я к ним только на каникулы приезжать буду.

Чувствовалось, Волков очень любит свою сестру, но не признается в этом даже себе, страдает оттого, что теперь он один-одинешенек на всем белом свете.

Самарин о своем прошлом не рассказывал. Где и как он жил до войны, ребята и представления не имели, а я не трепался, скрывая то, что узнал от Варьки.

Когда у нас появлялись деньги, все, даже Самарин, оживлялись. Волков с довольным видом потирал руки, предлагал смотаться всей компанией на базар. Я и Гермес охотно соглашались, а Самарин отнекивался до тех пор, пока Волков не уговорил его сходить на базар просто так, ради интереса. С того дня Самарин не упускал возможности побывать на базаре.

Туркменский базар привлекал колорностью, деловитостью, яркостью красок, не просто разбросанных тяп-ляп, а составляющих одно целое. Ни суеты, ни разноголосого гула, все чинно, по-восточному неторопливо. Белобородый аксакал в полинявшем халате, в мохнатой папахе стоит за прилавком неподвижно, как статуя. Водянистые от старости глаза спокойны; ни любопытства в них, ни блеска, только мудрость, которая приходит к человеку на склоне лет. Молодости недостает того, что в избытке у старости, а старость завидует молодости — энергии, которая бурлит в ней и которая иссякнет с годами, как жидкость в перевернутом кувшине. А может, аксакал не завидует? Может, он просто созерцает? Да и чему завидовать и зачем, когда в жизни все повторяется? Память воссоздает теплую, пахнувшую молоком грудь матери, паранджу на лицах женщин, не имевших права (адат!) открыться взору чужих мужчин; лоснящуюся физиономию откормленного

мираба [1], укравшего воду у соседей и ожидающего теперь хороший бакшиш; харман [2] с остатками колосьев, бережно подбираемых женщинами; твердое, как лолат [3], седло, куда его, босоногого и грязного, посадили сразу, как только отняли от материнской груди; первую похвалу отца; муллу в чалме, с открытым кораном на коленях; а потом, через десять или двенадцать лет, сильный ветер, облепленное платьем молодое тело, еще не созревшие трогательно маленькие груди, но уже по-женски выпуклый живот, обращенные к нему искрящиеся смехом глаза, лроизнесенное быстрым шепотом «Гочи!» [4]; смятение и боль, когда он узнал, что ее, совсем юную, отдают в жены старому баю; он помнит ее слезы, помнит, как, понурив голову, она вошла в богатую кибитку и как вышла из нее в парандже, скрывающей лрекрасное лицо... Сколько воды утекло с тех пор в арыках! Сколько торб и хурджунов [5] леретаскал он на этот базар! И вот теперь не он, а ему говорят «аксакал» и лочтительно смолкают, когда он открывает шамкающий рот.

Горы темно-зеленых арбузов с крохотными черными косточками, тысячи дынь: от маленьких — с апельсин — до огромных, лохожих на уснувшего лодсвинка; килограммовые гранаты с треснувшей кожурой — видны наполненные кисловато-сладким соком блестящие зерна-бусинки; сладкий картофель-батат, помидоры, баклажаны; виноград с тоненькой кожицей, сквозь которую лросвечивает узорчатая мякоть; оранжевый, слаще сахара урюк — все это притягивает, возбуждает, наполняет рот голодной слюной. Над тяжелыми гроздьями винограда вьются осы, приладают к перезревшим ягодинам, жадно пьют сладость, подрагивая узкими туловищами тигриной расцветки. Дразияще остро пахнет шашлыком, синий дымок клубится над нанизанным на шампуры мясом.

Туркмены одеты по-разному: одни в обыкновенных рубашках и брюках, другие в халатах, но у всех на головах высокие папахи — или ослепительно-белые, или чернее гуталина. Туркменки — и молодые и в годах — в одинаковых бордово-красных платьях, вздувающихся от ветра колоколом, с вышивками и монистами на груди. Задорно позвякивают серебряные царские рубли, полтинники с вычеканенным на них молотобойцем, динары, левы — целое состояние несет на себе восточная красавица. Черные брови вразлет, глаза потуплены — не подступишься, не пошутишь

Отворотив лицо, пожилой туркмен держит на отлете кусок сала. Коран запрещает ему есть свинину, а у меня глаза загорелись. Положишь на краюху тоненький, розоватый ломтик, рубанешь — и сыт. А с «таком» хлеб хоть и вкусен, но не сытен.

Мы околачивались на базаре уже с лолчаса. Мы—зто я и Волков. Самарин и Гермес с нами не лошли, несмотря на то, что сегодня я получил от матери денежный перевод. Она лрислала деньги на телогрейку, но я решил истратить их на продукты: «Авось перезимую как-нибудь». И хотя я никому не сказал, для чего предназначались деньги, Самарин посоветовал купить ватник и, если удастся, что-нибудь еще из одежды. Но я отдал все до копейки Волкову, потому что, кроме небольшой суммы, заработанной на товарной станции, и стипендии, до сих пор ничего не внес в общий котел. Самарин и Волков, не говоря уже о Гермесе, иногда раздобывали где-то. Это давало нам возможность сводить концы с концами. На вопрос, откуда деньги, Самарин и Волков отвечали туманно, и мы с Гермесом, наверное, так и не узнали бы ничего, если бы не Нинка. Несколько дней назад она спросила Самарина, что он продавал на толкучке,— Нинка ходила туда присмотреть себе на платье. Самарин сказал, что Нинка, должно быть, спутала его с кем-то другим.

— Брось, лейтенант!— Она погрозила ему пальцем.

Врать Самарин не умел, признался, что он продавал на толкучке трофейные ножницы, которые валялись без надобности в чемодане.

— Продал? — полюбопытствовал я.

— Чего слрашиваешь-то,— лроворчал Волков.— Два последних дня на эти самые деньги и живем.

— ...Чего покупать будем? — спросил Волков, обведя взглядом прилавки.

— Сам решай,— ответил я и покосился ча дыни.

— Можно,— великодушно произнес Волков.— Одну большую или пару маленьких возьмем. Только от них никакой сытости, одна сладость. Сытость от мяса бывает. Но если мы и баранины купим, то домой с пустыми карманами вернемся.

— Плевать! — сказал я: мне ужасно захотелось мяса.

— Значит, ллов готовить будем?

— Ага.

Кроме дынь и мяса, мы купили полкило риса («На плов»,— пояснил Волков), много-много всяких овощей и напразились в общежитие.

— Подымим? — предложил Волков.

Мы молча свернули цигарки

Обжигая губы слипшимся окурком, я сделал последнюю затяжку.

— Зря ребята не пошли с нами!

Волков бросил окурок под ноги, ввинтил его в пыль носком салога.

— После истории с «пушкой» у всех настроение хреновое и на душе муть.

Волков сказал то, о чем думал я сам. В нашей комнате все было, как и раньше, но так только казалось: что-то неуловимо-напряженное появилось в наших отношениях, исчезла лрежняя раскованность; во время общего разговора мы вдруг смолкали, и тогда каждый из нас ощущал на себе изучающий взгляд другого и сам исподтишка бросал такие же взгляды. Мы говорили о загадочном исчезновении «парабеллума» только в первые дни, потом по молчаливому согласию перестали переливать из пустого в порожнее. Но отказ Самарина и Гермеса сходить на базар я воспринял как одно из доказательств надвигающейся размолвки — размолвки открытой, потому что в душе мы уже находились если и не в состоянии войны, то, во всяком случае, в стадии, предшествующей конфликту. Жилин, несомненно, лонимал зто и бередил наши сердца различными воспоминаниями о кражах. Мы не верили, что в нашей комнате побывал чужой, но мысленно убеждали себя в зтом — хотели отсрочить то, что должно было рано или лоздно произойти. Жилин держался очень естественно: беззаботно лосвистывал, по-прежнему говорил нам «мужики» и по-прежнему вставлял в речь свое любимое «стало быть». Каждый вечер он куда-то сматывался с Нинкой, но возвращался сердитым.

---

[1] Мираб — староста арыков.
[2] Харман — гумно.
[3] Полат — сталь.
[4] Гочи — смельчак.
[5] Хурджун – переметная сумка.

«Видать, вхолостую ходит...» — усмехался Волков. Я напомнил, что он говорил про Нинку. «Цену себе набивает»,— возражал бывший сержант...

— Хреново на душе,— сказал Волков, поднимая корзину.

— Постоим,— попросил я.

Волков снова опустил корзину, процедив сквозь зубы:

— Все равно докопаюсь.

Я сказал, что Жилин ведет себя очень естественно.

Волков рассмеялся.

— Он еще тот орешек!

— Неприятный — это верно. Но вроде бы не вор.

— Вот именно — вроде бы.

Я предложил последить за Жилиным. Волков скосил на меня смеющийся глаз, и я понял, что опоздал с советом.

— За мной тоже следил?

— Был такой грех.

— Чего же ты выследил?

Волков перекинул корзину из руки в руку.

— Кралю твою видел и тебя с ней.

Я встречался с Алией каждый день. Конечно, с ней было приятно. Милая, красивая девушка — чего же больше? Но настоящей радости эти свидания не приносили. Я невольно сравнивал Алию с той женщиной, которая «всколыхнула мне душу до дна», вспоминал ее слова, жесты, неповторимое движение головы — все то, что было дорого и близко.

— Не верится, что ты видел нас. Я бы услышал.

Волков хохотнул.

— Выходит, недаром я в разведке служил!

13

Снег выпал только в феврале, когда его уже не ждали, когда с Копет-Дага подул весенний ветер. Казалось, весна остановилась за синими хребтами и теперь накапливает силы, чтобы перевалить через них.

Первым проснулся в тот день Жилин. Подойдя к окну, воскликнул:

— Гляньте-ка, мужики, снег!

Я приподнялся на локте и увидел снег. Влажный и густой, он покрывал толстым слоем плато. В тех местах, где были арыки, виднелись, словно строчки на огромном листе, темные линии. «Снег»,— с умилением подумал я, потому что не видел настоящего снега и в прошлом году, когда мотался по Кавказу. Я даже не представлял, что можно соскучиться по снегу.

Не сговариваясь, мы быстро натянули брюки, сапоги и выскочили на свежий воздух излюбленным Волковым способом — через окно.

Волков стал растираться, хватая отяжелевшие хлопья.

Самарин брал снег спокойно — без восклицаний и уханья. Тело у него было чистым и белым, как этот снег. Под левым соском виднелся коричневый сморщенный кружочек — след пулевого ранения.

Гермес взял рыхлый комочек, осторожно приложил его к груди, по-девчоночьи взвизгнул и полез в окно.

— Слабак! — крикнул ему Волков.

— Сумасшедшие вы,— с веселым ужасом проговорил Гермес, появляясь у окна в рубашке и наброшенном на плечи пиджаке.— Заболеете, что тогда делать?

— Снег — это вещь! — сказал Волков, стряхивая с себя капли.

— На.— Самарин кинул ему полотенце.

Я тоже умылся снегом и стал вытираться. Краем глаза видел девушек, сгрудившихся у окон, и любовался сам собой. Нинка тоже стояла у окна и что-то кричала нам, но ничего не было слышно.

За это время никаких перемен в нашей комнате не произошло. Вот только Нинка навещала нас реже — все свободное от занятий время она проводила или у Игрицкого, или гуляла с Жилиным.

Экзамены за первый семестр мы сдали успешно, три дня отсыпались и теперь соображали, как использовать оставшиеся дни каникул — целую неделю. Волков говорил, что надо будет сходить еще раз на товарную станцию. Самарин собирался провести несколько дней в городской «читалке», он все больше увлекался своими планами, самым серьезным образом готовился стать директором школы в таежном поселке. Даже нас заразил своей мечтой. Мы часто расспрашивали его про эту школу, и он, обычно сдержанный и немногословный, охотно рассказызал нам о ней, и рассказывал так, что мне тоже хотелось уехать в глухой таежный поселок и начать там с нуля какой-нибудь педагогический эксперимент.

Дядя Петя похудел еще больше. Правая нога волочилась сильней, но это вроде бы не тревожило его: к врачам он не обращался, видимо, не хотел ложиться в больницу. Свое обещание опекать Игрицкого дядя Петя выполнял. Как и Нинка, он каждый день бывал у Валентина Аполлоновича, что-то приколачивал, постукивал молотком, а чаще просто сидел и слушал хозяина. Мотаясь по комнате и отчаянно жестикулируя, Валентин Аполлонович с жаром доказывал что-то — это было хорошо видно через освещенные окна. Волков поинтересовался между делом, о чем они толкуют. «О всяком»,— ответил дядя Петя. Он относился к Игрицкому с подчеркнутым уважением, но в этом уважении не было ничего подобострастного — того, что иногда проявляется в отношении простого человека к людям умственного труда. Лекции по психологии проводились теперь точно по расписанию, вином от Игрицкого даже не попахивало, я часто гадал вслух — «завязал» Валентин Аполлонович или просто держится. Волков утверждал: «Сорвется»,— и мне было неприятно слышать это. Нинка сказала, что всю зарплату Игрицкий отдает дяде Пете, потому что не надеется на себя.

Владлен растолстел еще больше. Несмотря на то, что многие вычеркнули его фамилию из бюллетеней, розданных нам для тайного голосования, он все же прошел в профком. Когда в общежитие привезли тумбочки, вместо обещанных трех он «распределил» в нашу комнату две. Волков стал скандалить, Самарин увел его от греха подальше.

Как бывшим фронтовикам, мне, Волкову и Самарину полагались талоны на дополнительное питание. Это новшество было введено администрацией института. Распределял талоны Владлен.

Кроме фронтовиков, талоны на дополнительное питание выдавались самым необеспеченным студентам. А поскольку таких в институте было много, на всех талонов не хватало. И хотя мы редко наедались досыта, Волков с нашего согласия стал отдавать талоны ребятам из соседней комнаты — они жили на одну стипендию, очень нуждались.

Владлен пронюхал об этом, сказал Волкову, что мы поступаем неправильно.

— Наши талоны! — заявил Волков.— Что хотим, то и делаем с ними.

Владлен пригрозил лишить нас дополнительного питания.

— А это видел? — Волков сунул ему под нос кулак и по-прежнему продолжал относить талоны в соседнюю комнату.

О Владлене мы разговаривали часто: он был непонятен и поэтому возбуждал интерес. Волков наливался гневом, как только слышал его имя, Гермесу и мне он был безразличен. Самарин же сказал, что из Владлена, похоже, вырастает самый настоящий карьерист.

— Прозрели! — обрадовался Волков.— Я вам полгода про это толкую.

Гермес написал родителям, что хочет жениться, и теперь ожидал их решения.

— Неужели калым будешь платить? — спросил Волков.

Гермес ответил, что от этого обычая никуда не уйти.

— Сумасшедшие деньги! — воскликнул я и подумал: «Мне бы хоть одну треть, хоть одну десятую из этой суммы. Я бы тогда купил себе черный костюм, белую рубашку, хорошие полуботинки и направился прямо к матери Алии — сделал бы официальное предложение».

Встречался я с Алией теперь редко. Она утверждала, что мать о чем-то догадывается, не сомневалась, что приятели жениха донесли на нее, каждый день ждала унизительных расспросов. Во время прогулок Алия внезапно останавливалась, подолгу вслушивалась в ночную тишину. Ее тревога передавалась мне.

Гуляли мы только вблизи общежития и всегда на самых темных улицах.

— Почему нервничаешь? — спрашивал я.

— Предчувствую что-то,— отвечала Алия.

— Что?

— Не могу объяснить. Это сидит внутри и все время давит, давит.

Вчера она не пришла на свидание. «Значит, обстоятельства так сложились»,— решил я. У нас была договоренность: если что-нибудь помешает ей прийти, то я должен буду ждать ее в условленном месте через день.

Жилин ушел в город. Мы знали, что Нинка встречается с ним, а недавно нам сообщили, что они близки и что она — так, мол, утверждает Жилин — оказалась девушкой.

— Насчет девушки— выдумка,— заявил Волков.— Девушкой она лет пять назад была — голову даю на отсечение.

— Смотри, не потеряй,— глухо сказал Самарин.

Мне хотелось, чтобы все это оказалось сплетней, но Нинка своим видом подтверждала: было! За несколько дней она очень похорошела, ходила, улыбаясь, высоко подняв голову. И не только это бросалось в глаза — Нинка стала мягче, женственней. Курила она по-прежнему, но спиртное в рот не брала.

— Оттаивает,— откликнулся Волков, когда я сказал ему об этом.— На фронте люди грубеют. Я несколько раз встречал солдат, которые сроду не выражались, потом вдруг такое отчубучивали, что даже меня в краску вгоняли. А Нинка как-никак женского пола, и теперь ласковость и доброта в ней верх одерживают. Может, она даже лучше станет, чем до фронта была.

До сих пор Волков никогда так не говорил о Нинке. От удивления я раскрыл рот.

— Смотри, галка влетит,— с усмешкой предупредил он.

Я только предполагал, что Нинка нравится ему. Теперь убедился в этом окончательно. Так и заявил.

— Нравится — не нравится,— проворчал Волков.— Лучше моей Таськи на сегодняшний день никого нет! Платье она недавно сшила — в обтяжечку. Наденет — глаз оторвать нельзя.

Гермес решил сходить в главный корпус, посмотреть, нет ли писем. Волков снял гитару, висевшую над кроватью Жилина, потрогал струны. Перебирая их, спел песню про студенточку, которая должна была уехать к северным оленям. Эту песню Волков пел часто и всегда с чувством. Мне становилось грустно, когда Волков хрипловато произносил: «Студенточка —заря восточная...» В эти минуты перед глазами возникала моя первая горькая любовь.

— Голос у тебя, между прочим, приятный,—сказал Самарин.

— У меня, лейтенант, все в полном ажуре! — похвастал Волков и «выдал» еще одну песню—на этот раз про пылкого и порывистого, как ветер, молодого скрипача, полюбившего красивую девушку.

Перебирая струны, он пел:

Но пришел другой —
С золотой сумой.
Разве можно спорить с богачами?
И она ушла,
Счастье унесла —
Только скрипка плакала ночами...

Перед окном появился Гермес.

— Открой,— попросил меня Волков.

— На.— Гермес протянул мне письмо.— Только одно было — тебе.

Я распечатал конверт. Алия сообщала, что приехал жених, что через три дня будет свадьба, что мы больше никогда не увидимся, потому что сразу после свадьбы она уедет вместе с мужем в Кушку.

Я часто спрашивал себя — действительно ли я люблю Алию, и каждый раз отвечал утвердительно. Но сомнения оставались: там, на Кавказе, все было острей, мучительней. И вот теперь, держа в руках это письмо, я вдруг с ужасом понял — ни горя нет, ни отчаяния. Это показалось мне предательством по отношению к Алии, я стал накручивать себя и накручивал до тех пор, пока Самарин не спросил:

— Что с тобой?

Я молча протянул ему письмо.

Он пробежал его глазами и сказал:

— Все правильно, так и должно было случиться.

— Нет! — возразил я, согласившись в душе с Самариным.

— Блажь,— сказал он.— Вбил себе в голову, что любишь, а на самом деле тут твой возраст проявляется — пора любви и все прочее.

Меня потянуло на откровенность, и я рассказал Самарину, Волкову и Гермесу о любви, которая уже была. Ничего не скрыл, представил женщину с васильковыми глазами такой, какой она вошла в мою жизнь.

— Вот ее ты и любишь,— после недолгой паузы произнес Самарин.— По-прежнему любишь.

Он был мудрее меня, он, наверное, не ошибся. Но все же было неприятно, что Алия уезжает.

14

Распахнулась дверь, и возбужденный Волков, пройдя на середину комнаты, молча выложил на стол «парабеллум». У нас отвисли челюсти. Должно быть, в этот момент мы походили на персонажей из заключительной сцены «Ревизора».

Первым опомнился я.

— Откуда?

Волков усмехнулся.
— Выследил я этого гада.
— Жилин?
— За оранжереей прятал, в камнях. Прямо там накрыл его, а потом...
— Можешь не продолжать.— Самарин поморщился.— Череп, надеюсь, ему не проломил?
— Вроде бы нет.
— Сейчас он где?
— У Нинки.
И как только произнес это, в комнату ворвалась, не постучавшись, она — разъяренная, словно тигрица
— Хулиган! — накинулась она на Волкова, не обратив внимания на лежащий на столе «парабеллум».— Тюрьма по тебе, бандюге, плачет!
Нинка не давала нам и рта открыть — говорила и говорила, встряхивая головой. От этого ее волосы, рассыпавшись, падали на лицо, заслоняли глаза. Она убирала их резким движением, но они снова падали. Нинкина голова напоминала пламя.
— Ты чего разоряешься, как торговка на базаре?— крикнул я.— Узнай сперва, за что твоему Жилину врезали, а потом уж разоряйся.
— И знать не хочу! — Нинка хлопнула дверью.
...Вечером стало известно, что Жилина отправили в больницу. Это сообщил нам дядя Петя. Посмотрев на Волкова, он сказал:
— Про тебя разговор был. Разве можно рукам волю давать?
— Кто у своих шарит, бил и бить буду!
— Оно, конечно — Дядя Петя вздохнул.— У своих красть — самое последнее дело.— Дядя Петя помолчал.— Выпишется Жилин, что делать будете?
Мы промолчали. Мы и сами не знали, как поведем себя, когда Жилин снова появится в нашей комнате.
Повернувшись к дяде Пете, я спросил:
— Нинка знает про «пушку»?
— Знает.
— Вы рассказали?
— Я.— Дядя Петя потер бок.— Не поверила. Сказала, что Волков сам унес пистоль, а Жилина избил беспричинно, потому что хулиган.
— Как она смеет так говорить! — воскликнул я.
— Влюблена,— сказал Гермес и, глянув на Самарина, смолк.
Дядя Петя перевел взгляд на меня.
— Алия-то — слышал? — уехала.
— Неужели? — Я изобразил на лице грусть.
— Третьего дня она уехала,— сказал дядя Петя.— Я как раз на станции был — насчет угля узнавал. Гляжу: свадьба на фаэтонах подъезжает. Еще удивился: что за свадьба такая — ни смеха не слышно, ни веселья нет? Остановился. Вижу, Алия с фаэтона вылазит — на голове кружевной убор, а платье простенькое, немаркое, для дальней дороги приспособленное. Жених — тот самый — наперед выскочил, руку ей подал. Заметила она меня или нет — не понял. Она все под ноги себе смотрела, а жених, вернее сказать — муж, петухом вокруг ходил, оберегал.— Дядя Петя помолчал.— Я полагал, ты в курсе.
Самарин рассмеялся.
— Он и думать о ней перестал, дядя Петь.
На этот раз лейтенант ошибся. Я по-прежнему думал об Алии как о светлом и хорошем, что было, но уже прошло.
— Вон оно что,— не то с одобрением, не то с осуждением произнес дядя Петя.
— Так уж получилось,— виновато сказал я.
— Вон оно что,— повторил дядя Петя и вдруг охнул, схватился за бок.
Мы бросились к нему.
— Закололо,— прохрипел он, повисая на наших руках.
Мы подвели его к стулу, усадили. Он кривился от боли, дышал тяжело, по-рыбьи раскрывая рот Самарин хотел вызвать «Скорую», но дядя Петя остановил:
— Не надо. Это у меня не впервой.
— Врачам показаться надо,— строго сказал Самарин.
— Не пойду! — Дядя Петя замотал головой.— Наперед знаю, что они скажут. Предложат в больницу лечь, а мне надоело. За последний год два раза лежал, и все без толку.
Его лицо было землистым, губы — бескровными. Если бы не болезнь, то я, наверное, решил бы, что дядя Петя потемнел от загара.
...С каждым днем он слабел все больше, а мы бессильны были ему помочь, разве что саксаул нарубить или уголь покидать, да и то он противился, норовил все сделать сам. «Работа мне в радость,— часто повторял дядя Петя.—За ней и про хворь позабываю».
На первых порах я думал, что он говорит так в воспитательных целях, потом убедился — такой уж он человек, не может без работы. Просыпался дядя Петя раньше всех. Когда мы выходили в коридор с полотенцами, перекинутыми через плечо, там уже весело гудел титан, в приоткрытой топке мерцали угли: дядя Петя сидел на табурете и, шевеля губами, читал свежую газету, которую приносили рано утром — одну на все общежитие. Потом газетой завладевал Варька, и она исчезала.
— ...Лучше вам? — наклонившись к дяде Пете, спросил Самарин.
Дядя Петя кивнул:
— Пойду.
— Проводить?
— Сам.
Самарин все же решил проводить дядю Петю, и они ушли.
Я перевел взгляд на Волкова.
— Боишься?
— С чего бояться-то?
— Следствие начнется и все прочее. Отчислить могут.
— Плевать! Все равно я решил институт бросить. Экзамены с грехом пополам сдал — на одни «уды». Математика — наука строгая, вольности не допускает, а меня пожить тянет.
— На какие шиши жить собираешься?
— На работу устроюсь. А жить у Таськи буду — она недавно мужа турнула: он занудой был, каких мало.
Я решил, что без Волкова в нашей комнате сразу станет скучно, и загрустил.
— Не горюй,— сказал он.— Я навещать вас буду, харчишки приносить — работа, что мне светит, по продовольственной части.
Пока мы говорили, Гермес хмурился, обдумывал что-то. Неделю назад он получил от отца письмо, в котором было сказано: «Рано тебе о женитьбе думать — учись». Мы, конечно, согласились с его отцом, но, боясь обидеть Гермеса, при нем об этом не говорили.
— Никуда не денется твоя царевна,— утешал его Волков.
— А вдруг кто-нибудь калым внесет? — пугал сам себя Гермес.
— Руки-ноги тому негодяю переломаем! — уверял Волков.
Мы поддакивали. Гермес недоверчиво улыбался: он верил и не верил нам...



15

Я проснулся внезапно, будто током стукнуло. На душе было неспокойно, а почему — не мог понять. Стал перебирать в памяти все плохое, что произошло в моей жизни, и вдруг вспомнил, какое сегодня число. Ровно два года назад и тоже на рассвете меня контузило. И не во время боя, нет. Вышел я в тот день из блиндажа. Поеживаясь от утренней свежести, побрел в кусточки. И только остановился там — шарахнуло. 25 апреля случилось это, ровно за две недели до окончания войны. Если бы я на десять минут раньше вышел или на десять позже... Ужасно обидно было вспомнить, как меня контузило. Очнулся я в медсанбате. Потом неделю в вагоне качался — санитарный поезд увез нас в глубокий тыл.

В раскрытые настежь окна проникал еще не остывший воздух, горьковатый от полыни. Несмотря на весну, было очень жарко. Даже полынь — это стойкое к засухе растение — поникла и пахла так сильно, что во рту все время скапливалась густая горьковатая слюна. Плато перед окнами нашей комнаты уже не радовало взор своим убранством — все было выжжено беспощадным солнцем, которое лишь на короткий срок дало жизнь травам и тюльпанам, а потом безжалостно убило их. Какие букеты приносили мы, пока зеленела трава и цвели тюльпаны! Они пламенели повсюду — на подоконниках, столе, тумбочке. Вся свободная посуда была под цветами. Самарин приспособил для них даже котелок. Волков поворчал для порядка, но тюльпаны не выкинул — они великолепно «смотрелись» в помятом солдатском котелке. В других комнатах тоже стояли цветы. Все общежитие было завалено тюльпанами. Я никогда не видел столько цветов, и моя душа переполнялась радостью, которую омрачала лишь разлука с Алией.

А теперь вот от пыли посерела трава и завяла полынь. Только возле арыков виднелись матовые кустики, источающие горьковатый дурман.

Копет-Даг еще не был виден, но я, приподнявшись на цыпочки, все же посмотрел поверх газет туда, где находились горы. Я так привык к ним, что ощущал смутное беспокойство, когда — это случалось в пасмурные дни — их не удавалось разглядеть. Устремив на Копет-Даг взгляд, я любил думать, мечтать, а о чем — не мог объяснить. Мне просто нравилось смотреть на коричневые отроги в туманной дымке.

Самарин спал на спине под одной простыней, вытянувшись во весь рост. Дышал он ровно, спокойно. Гермес выпростал из-под сбившегося одеяла смуглую ногу, она четко выделялась на белой простыне. Волков сладко похрапывал. Захотелось разбудить ребят, рассказать им о том, что произошло ровно два года назад. Но они спали крепко, и я постеснялся их тревожить. Решил пройтись, успокоиться.

На востоке брезжило. Тонкая, анемичная полоска отделяла небо от земли. Звезды потускнели — мерцали не так ярко, как несколько минут назад. Прохлада не ощущалась, но я все же поежился.

В парке было сухо. Прошлогодние, не успевшие истлеть листья, ломались под тяжестью сапог, превращались в труху. Полоска на небе расширилась, поползла в вышину.

Хотелось закурить, но спичек не было, вчера последнюю извели. Я решил потревожить дядю Петю.

В подвале было тихо, пахло головешками, несмотря на то, что дядя Петя перестал топить месяца полтора назад. Из-под двери его каморки высовывалась рахитичная полоска света.

Я постучал в фанерную дверь. Ни звука. Постучал еще раз. То же самое. «Крепко спит»,— подумал я и открыл дверь. Дядя Петя лежал на топчане, свесив набок голову. На нее падал зыбкий утренний свет. Одна рука была подвернута, другая касалась дощатого настила. Я окликнул дядю Петю. Он даже не шевельнулся. Я тотчас понял все. Боясь поверить в это, подошел к дяде Пете, тронул его. Голова бессильно качнулась, костяшки пальцев стукнулись о пол.

Я ринулся наверх.

Гермес спросонья долго не мог понять, что к чему. Самарин сразу вогнал ноги в штанины, натянул сапоги и выбежал, Волков за ним.

Когда мы с Гермесом пришли, дядя Петя лежал на топчане лицом вверх. Его руки были скрещены, на глазах тускло отсвечивали пятаки.

— Зачем это? — шепотом спросил я, показав на них.

— Чтоб глаза не открывались,— ответил Самарин.

Гермес уткнулся лицом в мою грудь и разрыдался.

— Ну... ну...— Я похлопал его по спине и почувствовал — у самого навертываются слезы. Смерть близкого человека почему-то всегда расслабляет, заставляет заглянуть в будущее. Я вдруг понял, что когда-нибудь придется умереть и мне, и ощутил неприятный холодок.

Мы никому не сообщали о кончине дяди Пети, но весть об этом каким-то образом облетела общежитие. Подвал заполнялся людьми, в дверь заглядывали. Вошла Нинка и остановилась, закусив губу. В полумраке полыхали ее волосы, а лицо было белым-белым, будто в муке. Самарин шагнул к ней, стал что-то объяснять. Вначале Нинка слушала его настороженно, потом черты ее лица смягчились, из глаз покатились крупные, похожие на горошины слезы.

Ввалился опухший от сна Варька. Кинув на дядю Петю испуганный взгляд, объявил громким шепотом:

— Мы Паисию Перфильевичу шикарные похороны отгрохаем, поскольку он фронтовик!

Отозвав Варьку в сторону, я грубо сказал:

— Катись отсюда!

В Варькином лице что-то дрогнуло, он отступил на шаг и исчез среди толпившихся в дверях студентов.

Появился Игрицкий — полуодетый, с блуждающим взглядом. Студенты расступились.

— Уведи его,— обратился к Нинке Волков.

— Зачем?

— Расплачется.

— Пусть.

Валентин Аполлонович не рыдал, не стучал в грудь кулаком, но в его молчании была неподдельная скорбь. И, чувствуя это, мы тоже молчали, поглядывая на дядю Петю, ставшего вдруг таким маленьким и худеньким, каким он не был при жизни.

Похороны состоялись на следующий день. Все это время, включая ночь, провели в хлопотах. Смерть дяди Пети разрушила ту стену, которая сбразовалась между нами и Нинкой после истории с Жилиным.

Само собой получилось, что все хлопоты по организации похорон легли на наши плечи. Мы не раз и не два хоронили наших боевых товарищей, но то было на фронте, а тут приходилось бегать, договариваться и даже ругаться. Самарин сказал, что не помешало бы обтянуть гроб красной материей. Волков помчался в дирекцию. Вернулся сконфуженный.

В ответ на наши вопросы сказал, что в дирекции на него посмотрели, как на придурка.

— Замотался с вами,— проворчал Волков,— не сообразил, что любая материя сейчас дефицит, каждый сантиметр на учете. Обещали банку красной краски выдать.

Почти до самого утра он красил в подвале гроб, часто прибегал к нам передохнуть, жаловался, что сухое дерево впитывает краску, как песок воду.

Я мастерил рамку для портрета, увеличенного в срочном порядке с маленькой фотографии, которая была на паспорте дяди Пети. Самарин выстирал его одежду, вечером стал гладить ее. Девчонки с верхнего этажа предложили нам свою помощь, но мы решили — все сделаем сами.

Нинка сказала, что для дяди-Петиной медали полагается сшить подушечку, вот только какую надо — красную или черную,— она не знает. Мы стали гадать, какого цвета должна быть подушечка, но к единому мнению так и не пришли.

— Шей черную,— сказал я.

Нинка походила по комнатам, насобирала лоскутков. Одни были темнее, другие светлее Расположившись под лампой, она стала шить подушечку, низко наклонялась, откусывая нитку. Ее лоб морщился, сухие глаза были строги, на губах шелушилась кожа. Разгоняя рукой пар из-под утюга, Самарин исподтишка поглядывал на Нинку. Она этого не замечала — шила и шила. Я подмигнул Гермесу, и мы вышли в коридор.

— Пусть они вдвоем побудут,— сказал я, когда мы очутились в коридоре.

— Пусть.— Гермес кивнул.

Мы подышали свежим воздухом, навестили Волкова и вернулись. На спинках кроватей висела пахнувшая утюгом одежда. Нинка продолжала шить. Самарин, стоя у окна, дымил, обозревая траурное небо.

Волков взмахнул рукой, и похоронная процессия тронулась под нестройные звуки маленького оркестра — труба, бас, баритон, валторна, барабан с привинченной к верху «тарелкой». Впереди шел грузовик с опущенными бортами, с прикрепленным к кабине портретом дяди Пети. Гроб утопал в цветах. Их было много — и сплетенных в венки и накиданных в грузовик просто так, целыми охапками. Казалось, весь город принес сюда цветы. Сразу за грузовиком шагал, роняя слезы, Гермес. Он держал в ладонях подушечку с медалью «За победу над Германией» — самой главной и самой простой наградой фронтовиков. Когда на желтый кружочек попадал солнечный луч, медаль вспыхивала белым пламенем — даже глазам становилось больно. Прохожие замедляли шаги, многие из них останавливались, мужчины с орденскими планками на груди опускали руки по швам.

Позади Гермеса шли мы — Нинка, Самарин, Волков и я. Чуть отступив от нас, шаркал подошвами Валентин Аполлонович, рядом с ним шагал Курбанов и другие преподаватели-фронтовики. Тяжело и мощно вздыхала оркестровая медь; труба, чуть фальшивя, вела соло; обрывая музыкальные фразы, гремели «тарелки», ухал барабан.

Было жарко и душно...

16

Пыль носилась в раскаленном воздухе, покрывала наши тела, и от этого все мы стали одинаково смугловатыми, словно отпускники, возвратившиеся с курорта. Но под слоем пыли кожа оставалась белой. Несмотря на жаркие солнечные дни, мы еще ни разу не загорали, и только наши лица были, как у индейцев, кирпично-красными. Это заставило нас сконфуженно посмеяться, когда мы, спросив разрешения у Нинки, скинули гимнастерки и нательные рубахи и вдруг увидели, какая белая-белая у нас кожа.

Комната была залита солнцем, и лишь у самой двери — там, где стояла тумбочка, лежал лоскуток тени. Я все время поглядывал на него, словно он мог спасти нас от зноя. Нинкины волосы приобрели медноватый отлив, казались раскаленными. Она часто поправляла их, но делала это не так, как раньше,— не резким движением руки, а мягким, округлым жестом. Этот жест очень нравился мне, на Нинку было приятно смотреть, и я подумал, что весной все девушки и женщины хорошеют.

— Все равно жарко! — сказал Волков и, покосившись на Нинку, снял галифе.

Оставшись в одних трусах, он вытянул волосатые ноги, блаженно откинулся на спинку стула. Гермес покраснел, отвернулся. Нинка снисходительно рассмеялась. Я с удовольствием снял бы с себя лишнюю одежду, но щеголять в кальсонах было неприлично, а трусов у меня не было. Я только стянул сапоги. Скомкав портянки, конфузливо бросил их под кровать, пошевелил слипшимися пальцами ног, ругнул вслух этот несносный климат, в котором свариться заживо — плевое дело.

— Точно! — поддержал меня Волков и, потянувшись к стоявшей на столе бутылке, предложил тяпнуть еще по сто граммов «фронтовых».

— Повременим,— сказал Самарин.— Давайте просто так посидим.

Мы отмечали вторую годовщину окончания войны. Сговорились отметить эту дату сразу после похорон дяди Пети и две недели жили ожиданием предстоящего праздника. Волков урезал до предела наш дневной рацион, ворчал, называл нас обжорами. Он вел себя, как Плюшкин: сэкономленные продукты прятал в чемодан. Гермес накатал телеграмму отцу и позавчера получил перевод. На эти деньги мы купили баранину и две бутылки «московской». Волков тоже раздобыл спиртное, принес непочатую буханку хлеба. Я три дня подряд ходил на товарную станцию, но настоящей работы не было — на руки получил всего-навсего полсотни.

— Сгодятся,— одобрительно произнес Волков, когда я отдал ему эти деньги.

Самарин внес в общий котел двести рублей.

— Небось, опять на барахолке был? — спросил Волков.

— Ладно, ладно,— пробормотал Самарин.— Бери бумажки — и точка.

Волков покрутил головой, а я стал гадать про себя, что продал лейтенант на этот раз. Утром понял — бритву. У него была отличная бритва с перламутровой ручкой. Самарин брился каждый день. Утром он попросил бритву у Волкова.

— Вот оно что,— сообразил тот и добавил с недовольным видом, что такую бритву теперь ни за какие деньги не купишь, что вполне можно было обойтись и без этой жертвы, что к Девятому мая будет полный ажур — и жратвы от пуза и выпивки вдоволь.— Хоть посоветовался бы,— проворчал Волков, заканчивая тираду...

Мы сидели за столом уже часа два, но хмельными не были, хотя выпили немало. Волков отрезал от баранины огромные куски, без устали повторял:

— Рубайте, братва, рубайте! Сегодня наш день...

Минут десять мы сидели просто так, перебрасываясь ничего не значащими фразами, отыскивали взглядом, что бы еще пожевать.

Потом Волков сказал:

— Такой день, братва, а вроде бы и не праздник.

— Праздник! — возразил Самарин.— Даже в газете статья есть.

Волков плеснул себе в кружку, спросил нас взглядом: «Налить?»

— Валяй,— откликнулся я.

— Успеешь налиться,— лредостерег меня Самарин и, накрыв свою кружку ладонью, сказал Волкову: — Я мимо.

— Чего так?

— Хочу сегодня, как стеклышко, быть.

Я вдруг вспомнил дядю Петю и загрустил.

— Чего скис? — толкнул меня локтем Волков.

— Дядю Петю вспомнил.

Что-то неуловимое лролетело ло комнате, наполнило болью сердце. Волков лоднялся, лрошлепал к тумбочке, извлек из нее граненый стакан, наполнил его водкой.

— Давайте, братва, за дядю Петю выпьем!

Самарин поднял кружку:

— За человека и солдата!

Мы одновременно потянулись к стакану. Пять кружек на несколько мгновений застыли.

Когда мы вылили, Волков сказал, нюхнув хлебную корочку:

— Два года назад, братва, война кончилась, а фронтовики все еще умирают от ран. И, видать, еще долго будут умирать.

— Мы не от старости умрем — от старых ран умрем,— негромко сказал я.

— Сам придумал? — заинтересовался Волков.

— К сожалению, нет. Это стихи Семена Гудзенко.

— Не читал,— сказал Самарин.

— Прекрасный лоэт. Тоже фронтовик. Еще в Москве слышал — болен он тяжело.

— Раны?

Я кивнул.

— «Мы не от старости умрем — от старых ран умрем»,— словно про себя, ловторил Волков.— А еще что он сочинил?

— Много хороших стихов — про фронт, лро солдат.— И я произнес возникшие в памяти строчки:

Пусть живые запомнят и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую лравду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,—
Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
лодымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
...Нас не нужно жалеть: ведь и мы б никого не жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

— Черт,— пробормотал Волков.— Даже слезу вышиб.

И больше никто не проронил ни слова — в зтих стихах было все.

Потом Самарин предложил выпить за Семена Гудзенко и за тех фронтовиков, которые и спустя много-много лет будут лисать о себе, о своих фронтовых товарищах, а следовательно, о нас.

Он сунул в рот помятый «гвоздик», чиркнул спичкой, жадно затянулся.

— Мы умрем, а зту войну будут помнить. Наши дети, наши внуки, наши правнуки и лравнуки наших детей! Меня часто бессонница мучит. Лежу и вспоминаю. Стараюсь не вспоминать, а перед глазами вертится, вертится. Сам удивляюсь, как мы такое выдержали. Словами об этом не расскажешь. Знаю, книги лро войну налишут, а все равно обо всем не расскажут, лотому что зто невозможно, потому что зто надо своими глазами увидеть, и не только увидеть — лережить! Года лолтора назад я одного человека встретил — тоже фронтовика. Как водится в таких случаях, лро войну стал вспоминать. А он в ответ: «Молчи! За четыре года нахлебался — хватит. Я зти годы из головы вышвырнул, будто и не было их». Я тогда разозлился, нехорошим словом назвал его, а теперь с уверенностью могу сказать: ошибся он. Хоть из кожи лезь, а фронт не лозабудешь, он все время будет маячить перед глазами — хотим мы зтого или нет.

Нинка вдруг закрыла лицо руками и разрыдалась.

— Что с тобой? — встревожился Самарин.

— Вам легче было — вы мужчины,— вытирая слезы, сказала Нинка.— А каково нам, девчатам, приходилось? Господи, даже вспоминать страшно! Ведь там не только хорошие люди были. До сих пор одного мерзавца забыть не могу: лицо, как блин, ухмылочка, оттопыренные уши. Подсыпался ко мне, златые горы обещал. Я его луще немцев боялась. Из-за него и курить начала. Он большой шишкой был и пользовался своей властью. Когда я наотрез отказала ему, он меня на передовую слровадил. Слерва нелривычно мне было, лотом лообвыкла. На лередовой люди не те, что во втором зшелоне.

— Вот, вот! — обрадовался Волков.— Я тоже так считаю. Сейчас все говорят, что на передовой были, даже те, кто к фронту никакого отношения не имел.

Открылась дверь. В комнату вошел Жилин. Мы лонимали: рано или лоздно нам лридется встретиться. Я часто лрикидывал, что скажет он и что ответим мы.

В лервую минуту он показался мне осунувшимся, но потом я сообразил, что Жилин совсем не изменился — не похудел и не лолравился, а нездоровый вид объясняется отсутствием загара на лице. Я не заметил, как отнеслись к его внезапному появлению ребята и Нинка, потому что смотрел только на него, а когда леревел взгляд, то увидел каменное выражение на лицах, и только у Нинки чуть вздрагивали ресницы.

Шагнув к своей кровати, Жилин скатал матрац вместе с лодушкой и постельными лринадлежностями, снял гитару. Затем, присев на корточки, выдвинул чемодан, подергал замок. На чемодане был слой пыли — мы умышленно не сдвигали его с места, но Жилин все же достал ключ. Отомкнув чемодан, начал лроверять, все ли цело. Мне стало не ло себе. Почудилось: сейчас он обернется и обвинит нас в воровстве. Такое ощущение возникало у меня и раньше, например, в госпитале, когда кто-нибудь начинал рыться в своей тумбочке, поднимая на солалатников обеспокоенный взгляд.

У Гермеса в глазах-щелках появился нехороший блеск, у Волкова заходили скулы. Он хотел что-то сказать и даже раскрыл рот, но Самарин остановил его жестом. Волков поперхнулся, лроизнес, будто прочищал горло:

— Кхе, кхе...

Это «кхе, кхе» так подействовало на Жилина, что он сгреб одной рукой матрац, другой схватил чемодан и, позабыв о гитаре, рванул в дверь.

— Следовало бы всыпать ему! — сказал Волков.

— Не тронь... Вонять не будет,— ответила Нинка.

— Гитару-то куда деть? — спросил я.

— Выставь ее в коридор,— посоветовал Самарин.

Нинка старалась быть спокойной, но ее ресницы лопрежнему вздрагивали, выдавая внутреннее волнение. Волков не обратил на это внимания, накинулся на Нинку, сказал ей, что она дура набитая, потому что луталась с Жилиным.

— Лейтенант вон иссохся по тебе! — запальчиво выкрикнул Волков.— А ты...

Я хотел было зажать ему рот, но он сам, поняв, что сказал лишнее, сконфуженно крякнул.

Самарин сидел, как каменный. Выдавали его лишь глаза... Гермес завертелся на стуле, лереводя встре-

воженный взгляд с Нинки на Самарина. Я ждал, что будет дальше.

Нинка вытряхнула из пачки «гвоздик», неторопливо размяла его.

— Хотела бросить — не получилось!

— Ты почти три месяца не курила,— напомнил я.

Нинка усмехнулась.

— Подсчитал?

— Ага.

Она поискала глазами спички. Я схватил коробок, дал ей прикурить. Сделав несколько затяжек, Нинка произнесла, разглядывая тлеющий на папироске огонек:

— Семену не нравилось, что я курю. Вот я и бросила. Но тянуло...

Она назвала Жилина по имени, и я подумал, что Нинка, должно быть, по-прежнему любит его. Но она сказала:

— Я еще никого не любила по-настоящему. Когда увидела Семена, решила — вот он. Понравился мне в тот день Семен: деловой, самостоятельный, сильный. Вы-то все друг на дружку чем-то походите — одним словом, фронтовики. А Гермес для меня до сих пор мальчишка.— Нинка положила ему руку на плечо.— Ты не обижайся за такие слова. Ладно?.. А Семен мне каким-то другим показался. Но я скоро поняла: ошиблась... Хотя встречаться с ним продолжала. Жалела я его почему-то. Он, бывало, трясется, требует своего, а я долго не допускала его до себя. Это уже потом случилось.

— Он раструбил про свое геройство,— вставил я.

— Знаю.— Нинка наклонила голову.— Это и оттолкнуло меня от него. Терпеть не могу парней, у которых вместо языка балалайка.

— Ты спрашивала, зачем ему «парабеллум» понадобился? — поинтересовался я.

— Спрашивала. Ничего путного ответить он не смог.

— Темнит! — воскликнул Волков.— Небось, продать думал.

— Наверное,— сказала Нинка.— А может быть, увидел красивую штучку и не удержался. Все мужчины неравнодушны к оружию, а желторотики в особенности. Расстрелял бы на пустыре обойму и выбросил «парабеллум».

Я вспомнил себя, однополчан, нашего старшину.

Самарин пробормотал:

— Нехороший он человек.

— Правильно! — крикнул Волков.— Он и Варька — два сапога пара. Кстати, Нинк, чего у тебя с Варькой-то было, если, конечно, это не секрет?

Нинка сунула испачканную помадой папироску в консервную банку, усмехнулась.

— Я, ребята, так и не узнала, что такое любовь. Нравились мне многие, в том числе и Владлен, но очень — никто. Мне по-настоящему одного Валентина Аполлоновича жалко.

— Чего его жалеть-то? — Волков хохотнул.

— Отца мне напоминает. Как взгляну на него, сердце сжимается.

— Он сам себя губит,— проворчал Волков.

Нинка вздохнула.

— Это болезнь.

— Пусть лечится!

— Вот мне и хочется ему помочь. Отцу не удалось — война помешала. Хоть теперь доброе дело сделаю.

Я подумал, что Нинка принадлежит к числу тех женщин, которые живут для других, и неожиданно для себя выпалил:

— Замуж тебе надо! За Самарина выходи!

Нинка взглянула на лейтенанта, задумчиво произнесла:

— Знаю, Коль, что ты любишь меня. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пыталась полюбить — не вышло. Видно, мне на роду написано без большой любви свой век вековать. Моя мать отца тоже не любила, хотя и прожила с ним не один десяток лет и двух дочерей от него родила... Ты, Коль, еще встретишь хорошую девушку. Ты крепкий, молодой.

— Ну, полюбишь же ты кого-нибудь? — спросил я.

Нинка махнула рукой.

— Чего понапрасну голову ломать? Когда случится это, тогда и думать буду. Только навряд ли это случится. Двадцать два года прожила — не полюбила. Должно быть, это не каждому суждено.

Самарин и Нинка о чем-то беседовали вполголоса, Волков изредка перебивал их, Гермес молча слушал. В глазах Самарина уже не было прежней грусти, и я мысленно подивился его самообладанию, умению держать себя в руках. Ужасно захотелось заглянуть в наше будущее, захотелось узнать, что ожидает нас через год, через два, через пять лет. Но об этом приходилось только гадать. Однако самое главное было ясно: впереди маячил, как синие горы Копет-Дага, диплом, я не сомневался, что сумею получить его, как не сомневался и в том, что все мы — я, Самарин, Волков, Нинка, Гермес — не пропадем в водоворотах жизни, пока нелегкой, не очень ласковой, не всегда понятной, но все же жизни, которую мы и сотни тысяч таких же, как мы, отстояли, пройдя через немыслимые мытарства. Мы многое потеряли: прерванную войной юность, близких, друзей,— но и многое приобрели. Мы с гордостью называли себя фронтовиками. Это слово служило паролем, оно заключало в себе особый смысл — то, что не хотели понять такие, как Сайкин и Козлов...

Я взглянул на торчавший из консервной банки окурок со следами помады, перевел глаза на Нинку.

— Зачем ты губы так густо мажешь?

Она удивилась:

— Разве некрасиво?

— Надо чуть-чуть, а ты...

— Он прав,— тихо произнес Самарин.

— Прав? — Нинка удивилась еще больше.— А я думала...

В дверь постучали.

— Можно! — крикнул Волков.

В сопровождении Игрицкого вошел Курбанов — принаряженный, с орденами и медалями вместо ленточек, с каким-то свертком под мышкой. Игрицкий был в хорошо отутюженной рубахе-апаш, в новых сандалетах с белым рантом. Увидев бутылку, он вытянул шею, но, встретившись с укоризненным взглядом Нинки, потупился, сделал шаг назад и остановился, привалившись плечом к косяку.

— Милости просим,— сказал Самарин.

В свертке оказалась поллитровка. Мы потеснились, освобождая Курбанову место. Нинка заботливо усадила его. Я пригласил к столу Валентина Аполлоновича. Снова покосившись на бутылки, Игрицкий невнятно пробормотал, что он не фронтовик. И добавил:

— Я, пожалуй, пойду.

— Оставайтесь! — великодушно разрешил Волков.

Стараясь не глядеть на Нинку, Игрицкий сел подле меня, протянул трясущуюся руку к стакану, в котором была недопитая водка, одним махом опорожнил его. Всем сразу стало неловко, наступила настороженная тишина.

— Что такое? — Курбанов обвел нас темными стеклами очков.
— Ступайте домой, Валентин Аполлонович,— строго сказала Нинка.
— Успеется,— храбро возразил тот.
Нинка с осуждением посмотрела на меня и Волкова. Я ругал себя за то, что пригласил Игрицкого к столу. Встретившись с Нинкиным взглядом, Волков отвел глаза. Не спрашивая разрешения, Игрицкий снова плеснул в стакан.
— Достаточно! — резко сказала Нинка.
— Да, да.— Курбанов закивал головой: он, видимо, все понял.
Игрицкий молча выпил. Его глаза осоловели, на губах появилась ухмылка. Приподняв над столом стакан, он потребовал:
— Налейте-ка мне еще, ребятки.
— Нет! — Подойдя к Игрицкому, Нинка легко приподняла его за плечи.
— От-стань-те,— пробормотал Валентин Аполлонович.
— Нехорошо, нехорошо, Валя.— Курбанов шевельнул палкой.
— От-стань-те,— повторил Игрицкий. Он совсем опьянел, на него было больно и противно смотреть.
Нинка молча поставила его на ноги и повела к двери. Игрицкий начал сопротивляться, но Нинка так встряхнула его, что тот сразу сник.
Меня давно интересовало, как относится к Игрицкому наш преподаватель литературы. Он жил в городе, сразу после занятий уходил домой. Самарин утверждал, что этот человек совсем не дуб, каким иногда хочет казаться, да и я сам думал так же — ирония в его глазах кое-что проясняла. И вот теперь, воспользовавшись случаем, я спросил Курбанова.
Он не стал выяснять, почему меня заинтересовало зто, сказал, что незадолго до войны наш филолог опубликовал несколько спорных работ, их раскритиковали в печати, вынудили его уйти из одного крупного учреждения; теперь он осторожничает сверх меры, Игрицкому вроде бы сочувствует, но вслух об зтом не говорит, на собраниях и совещаниях молчит, как рыба.
— Его можно понять,— пробормотал я.
— Я бы по-другому сформулировал мысль,— возразил Курбанов.— Если человек действительно ошибся, то он обязан честно и открыто признаться в зтом, а если он прав, то должен бороться до конца.
Самарин кивнул.
— Я тоже так считаю.
Мы выпили. Солнце спускалось к горизонту, и синие горы, освещенные его лучами, виднелись сегодня особенно четко. Это казалось мне хорошим предзнаменованием. Курбанов обращался к нам на «ты». Это тоже нравилось мне.
У Гермеса слипались глаза, он все время клевал носом. Самарин отставил от него кружку, мягко сказал:
— Ты свою норму выпил.
Гермес стал протестовать, с трудом ворочая языком. Волков прикрикнул на него.
Мы перебивали друг друга, вспоминая смешные эпизоды из фронтовой жизни, потом, словно по команде, смолкали, и тогда каждый из нас, должно быть, видел похожее на то, что возникало перед моими глазами: осенний ливень, наполненные жидкой грязью окопы, выступающую из тумана околицу деревни, пульсирующие вспышки немецких пулеметов, осунувшиеся, с воспаленными глазами лица солдат и многое-многое другое, что запечатлелось в памяти.
Самарин предложил спеть.
— Самое время! — обрадовался Волков и пожалел, что нет гитары.
— Обойдемся,— сказал я.
Пел Волков, а мы нестройно подтягивали.
...И поет мне в зе-млянке гармонь про улыбку твою и глаза,— задушевно выводил он, и я чувствовал: навертываются слезы.
Мы сидели тесным кружком, положив руки друг другу на плечи, раскачивались в такт мелодии. Мы были как одна семья...

17

В конце июня, когда окончилась сессия, мы стали собираться в путь-дорогу. Волков уезжал к сестре, Гермес — домой в Чарджоу, Самарин о своих планах ничего не сообщал, и мы не расспрашивали его, потому что давно убедились: что захочет, он и сам скажет, а что не захочет — как ни старайся, все равно не выпытаешь.
Я хотел навестить мать. Денег на билет не было, но это меня не смущало: решил ехать зайцем, как ездил раньше. Мне всегда удавалось вовремя ускользнуть от контролеров; я не сомневался, что доберусь до Москвы, хотя, быть может, затрачу на дорогу несколько лишних дней. Узнав, что у меня нет денег, Самарин предложил устроить складчину. Я сказал, что обойдусь, знал: у ребят нет ни копейки в загашнике.
Перед самым отъездом Волков объявил, что он отчислен из института, в тот же день сдал кастелянше постельные принадлежности. Покосившись на свою ржаво темневшую кровать, сказал осипшим от волнения голосом:
— Кранты!
— Дурная голова ногам покоя не дает,— отозвался Самарин.
— Не вороши сердце, лейтенант! — огрызнулся Волков.
Я вдруг подумал, что зто дело можно переиграть, посоветовал Волкову забрать заявление.
— Нельзя,— возразил он.— Я уже на работу устроился— с двадцатого августа приступаю.
— Ты навещай нас,— с грустью произнес Гермес. Он запихивал в чемодан свои вещи и делал зто, как всегда, неумело — лишь бы крышка закрылась.
— Дай-ка,— не выдержал Волков и, отстранив Гермеса, склонился над его чемоданом. Выложил измятые рубахи, скомканные, будто побывавшие в коровьей пасти, трусы, носки и все прочее; протер влажной тряпкой дно, застелил его газетой и начал бережно укладывать в чемодан вещи, ворча с нарочитой строгостью: — Ну и неряха же ты, аж стыдно делается! Почти год с нами прожил и не научился порядку. В армию тебе надо! Схлопочешь десяточек нарядов вне очереди — научишься.
Я посмотрел на кровать Волкова.
— Ей-богу, плохо, что ты покидаешь нас!
— Не ной,— выдавил Волков и еще ниже склонился над чемоданом.

Зима тянется долго, осень тоже, а весна и особенно лето проходят, как скорый поезд мимо полустанка. Это я заметил еще, когда учился в школе. В первые дни каникул думал — впереди целое лето. А в конце августа, когда дни становились короче и начинали опадать листья, охватывало уныние: скоро осень — моросящий дождь, голые ветки на деревьях, грязь на дворе, потом снег, холод, наросты льда на окнах, злектрический свет по утрам и задол-

го до наступления вечера. И во двор не выбежишь в одной рубашке и в тапочках на босу ногу. Нет, зиму я не любил. И осень тоже. Любил весну, лето, задумчивый шелест листвы, птичьи голоса, поляны, усыпанные ромашками и колокольчиками. Но самое главное — солнце, тепло. Может быть, именно поэтому после демобилизации меня потянуло на юг...

На этот раз лето тоже пролетело до обидного быстро. Но меня уже не пугала зима: я возвращался в Ашхабад. Чувствовал — соскучился. Хотелось поскорее увидеть ребят. Втайне я продолжал верить, что встречусь и с Алией. Время не выветрило ее из памяти, как оно не выветрило и мою первую любовь. Иногда казалось, память дана мне в наказание. Как я обрадовался, когда, возвратившись в Ашхабад, узнал, что через несколько дней после моего отъезда Алия приходила в общежитие! Об этом мне сообщил Самарин — он уехал позже всех, а приехал первым.

— Почему ничего не написал мне? — тотчас спросил я.

— А куда, по-твоему, я должен был написать? — возразил лейтенант.— На деревню дедушке?

Я мысленно выругал себя за то, что не оставил Самарину московский адрес.

— Не грусти. Если вам суждено встретиться — встретитесь.— Он помолчал и добавил: — Только мой совет — выкинь ты ее из головы, так лучше будет.

Легко сказать — выкинь. Если бы я мог это сделать.

Обвел взглядом комнату.

— Гермес еще не приехал?

Я мог бы не спрашивать об этом: в комнате была застелена одна кровать — Самарина, а на остальных лежали рыхло скатанные полосатые матрацы со ржавыми отметинами.

— Как видишь.

— От Волкова тоже вестей нет?

— Пока нет. Но он уже вернулся.

— Точно?

Самарин не успел ответить — перед окном возникла Нинка, сильно похудевшая, совсем черная от загара. И уже не в гимнастерке — в кофточке с широким воротничком, украшенным красной вышивкой.

— Когда приехал? — спросила Нинка. Я определил по голосу — она рада мне.

— Только что.

— Все время в Москве был или выезжал куда-нибудь?

— Только в Мамонтовку — купаться.

Нинка поправила выгоревшие волосы, с грустью произнесла:

— А я за все лето ни разу не искупалась. В Фирюзу собиралась, да все недосуг — работала.

— Где?

— В совхозе. За все лето на продукты самую малость истратила — на овощах и фруктах жила. Зато одежонку себе справила.

Я похвалил кофточку, Нинка заулыбалась.

— Фирюза, говорят, замечательное место,— сказал Самарин.

— Да, да,— подтвердила Нинка.— Кстати, знаете, что такое Фирюза в переводе на русский?

— Нет,— ответил я.

— Жемчужина! — объявила Нинка и предложила в ближайшие дни съездить в это местечко.

— Идет! — сразу же согласился я.

— Надо Гермеса и Волкова подождать,— сказал Самарин.

— Правильно! — снова согласился я.

Обращаясь к Самарину, Нинка произнесла:

— Сегодня опять Волкова видела. Хотела подойти, да постеснялась.

— Чего?

— Он не один был — с той, с которой в прошлый раз его встретила.

— С Таськой? — воскликнул я.

Нинка сказала:

— В прошлый раз он нас не познакомил. В положении она. Если присмотришься — заметно.

— С Таськой! — уверенно заявил я.— Выходит, опутала она его. Теперь хоть так крути, хоть этак — не отвертится.

— Волков сумеет,— возразила Нинка.

— Зря на него наговариваешь,— заступился за товарища Самарин.— От своего ребенка он не откажется.

— Значит, считаешь, распишется?

— Этого утверждать не буду. Хомут на шею Волков вряд ли наденет. Но своего ребенка признает.

— А толку что?

— Помогать будет.

Нинка усмехнулась.

— До поры до времени.

— Это все от совести зависит! — твердо сказал Самарин.— А у Волкова она есть.

Было жарко. Я прибыл в Ашхабад в полдень, солнце жгло немилосердно, побитый асфальт был мягким, словно воск, раскаленные камни на мостовой, казалось, дымились. Пока добрался до общежития, семь потов с меня сошло, и теперь я чувствовал, как коробится пропитанная солью, но уже подсохшая майка.

Это лето в Москве выдалось дождливым, холодным, солнечные дни можно было по пальцам пересчитать, я все время возвращался мыслями в Ашхабад, но уже в поезде, в душном вагоне с застывшим воздухом, от которого разламывалась голова, стал вспоминать прохладу, неторопливый московский дождь, мокрые листья на деревьях, лужицы на тротуарах.

Глянул в окно и спросил:

— Дожди были тут?

— Ни одного! — с веселым ужасом откликнулась Нинка.— Солнце прямо сбесилось. Мою напарницу, с которой я на одной делянке работала, удар хватил. А мне хоть бы что — вот только похудела.

— Это тебе к лицу,— сказал Самарин.

В Москве перед моим отъездом стало прохладно, листья деревьев окрасились желтизной, и небо сделалось другим: синева помутнела, покрылась дымчатой пленкой, прилетели синицы; они перепрыгивали с ветки на ветку, оглашая двор тихими, грустными посвистами; трава потемнела, потеряла свою свежесть, стала жесткой, как проволока.

А в Ашхабаде ничто не предвещало осень. Листья на деревьях были мохнатыми от осевшей на них пыли, пахло подгнившими фруктами. Я решил, что теперь поем их вдоволь — в институтском ларке было много фруктовых деревьев.

— Чему улыбаешься? — поинтересовалась Нинка.

Я сказал про фрукты.

— Этого добра полно! — подтвердила Нинка.— А мне они надоели.

— Надо бы набрать яблок, груш, слив и высушить их,— сказал я.— Зимой компот варить будем.

Самарин рассмеялся.

— Смотри, каким хозяйственным стал! Придется тебя вместо Волкова старшиной назначить.

Я сказал, что не умею вести хозяйство, что мы ноги протянем, если меня назначат старшиной.

Самарин похлопал по карманам, ища папиросы.

— Вот они.— Нинка показала взглядом на подоконник.

Самарин взял папиросы, протянул пачку Нинке.
— Бросила,— сказала она.
Самарин метнул на Нинку взгляд, с несвойственной ему эмоциональностью воскликнул:
— Молодчина!
Нинка вдруг сказала, что Игрицкий вот уже две недели находится в больнице.
— Что с ним? — поинтересовался я.
— То.
— Значит, это у него навсегда.
— Не верю! — Нинка замотала головой.— Про моего отца так же говорили. А потом встретился врач, который пообещал его вылечить. Но не успел — война началась.
«Как она много наворотила, эта война,— подумал я.— Скольких людей унесла, скольких разлучила. И сколько надежд разрушила».

18

Гермес приехал на следующий день рано утром. Спросонок я услышал бабаханье в дверь, возбужденно-радостный вопль:
— Подъем!
Я и Самарин проснулись одновременно. Как всегда случается в спешке, щеколда не поддавалась, и мы, чертыхаясь вполголоса, долго возились у двери, мешая друг другу. А Гермес продолжал орать, сотрясая дверь ударами каблука:
— Открывайте же!
Мы отжали щеколду ножом, и он, оставив в коридоре вещи, влетел в комнату. Затормозив около стола, круто обернулся, бросился к нам, раскрыв объятья.
— Полегче, полегче,— сказал Самарин, отстраняясь от Гермеса.— Можно подумать, что ты сто тысяч выиграл.
— Женюсь!—объявил Гермес.—Роано через год — так отец обещал. Вначале он ни в какую, а мать сразу сказала: пусть.
За два месяца, что мы не виделись, он возмужал — раздался в плечах, вырос. Брюки стали коротковаты, белая рубаха с закатанными рукавами плотно облегала мускулистую грудь.
— Тебя и не узнать,— сказал Самарин, с удовольствием окидывая Гермеса взглядом.
— Поправился, да?
— Крепким стал.
Гермес кивнул.
— Раньше ребята мне проходу не давали, а теперь... Недавно один стал задираться. Я струхнул, но виду не подал. В общем, поговорил с ним.
— При помощи кулаков?
— Пришлось.
— Ты не очень-то... Кулаки не аргумент.
— Понимаю,— сказал Гермес, и, ойкнув, помчался в коридор за вещами. Внес огромный чемодан, перевязанный крест-накрест веревкой, волоком втащил мешок, от которого исходил приторный запах подгнивших фруктов. Затем в комнате появилась корзина, накрытая запорошенной пылью тряпкой, после нее — торба, потом — два увесистых свертка в газетной бумаге.
— Даешь! — сказал Самарин.— Как тебе удалось дотащить все это?
— Пришлось фаэтон нанимать,— объяснил Гермес.— Тридцатку содрали.
— Дороговато,— решил я.
— А что было делать? В камеру хранения это,— Гермес пнул ногой мешок,— не принимают, знакомых на вокзале — никого, вот и выкручивайся!
— Мог бы телеграмму послать — мы бы встретили.— Самарин продолжал улыбаться, поглядывая на Гермеса.
— Мать то же самое советовала. Но я решил нежданно-негаданно нагрянуть.
Самарин подошел к окну, аккуратно снял с гвоздиков газеты, сладко зевнул.
— Который теперь час?
— Должно быть, около восьми,— сказал Гермес.— Поезд пришел ровно в шесть сорок.
Самарин надел брюки, присев на край постели, натянул сапоги, перекинул через плечо полотенце.
Гермес разделся до пояса, и мы пошли умываться.
Самарин подбросил ладонью хоботок умывальника, чертыхнулся.
— Опять воды нет! Как не стало дяди Пети — весь наш быт кувырком.
На несколько секунд мы затихли, словно увидели дядю Петю. Я вспомнил его лицо, добрые морщинки у глаз и почувствовал: сжалось сердце.
Самарин принес ведро воды — она поступала в дворовую колонку прямо из арыка,— и мы, брызгая на зацементированный, никогда не просыхающий пол, стали умываться над раковиной, длинной и узкой, похожей на два сдвинутых корыта. Тело Самарина было белым, и я подумал, что ему, видать, не пришлось понежиться на солнышке. Когда мы вернулись в комнату, спросил, как он провел каникулы.
Ответил Самарин не сразу. Надел гимнастерку, опоясался ремнем. Засунув под него пальцы, расправил складки.
— Интересуешься, как я провел каникулы? Вкалывал в лесхозе!
— В лесхозе?
— Командир моего взвода там директором. Еще прошлой осенью приглашал погостить. Три дня я баклуши бил, а потом взял и устроился лесорубом. Командир взвода вначале все сокрушался, предлагал другую работу — полегче, а я решил: пан или пропал. Короче говоря, теперь мы обеспечены хлебом насущным минимум на три месяца.
Я посмотрел на руки Самарина. Они были в мелких ссадинах, с затвердевшими мозолями.
— Из одежды купил себе что-нибудь?
— Кое-что.
— А я только куртку привез — из старого пальто перешили.
— Ничего,— утешил Самарин.— Постепенно приоденешься. С промтоварами все лучше и лучше становится. Раньше на весь лесхоз один ордер выдавали, теперь — пять.
— Говорят, скоро карточки отменят,— сказал Гермес.
— Пора,— добавил Самарин.
Мы помечтали, как хорошо будет, когда отменят карточки. Об отмене карточек поговаривали еще в сорок пятом, а сейчас кончалось лето сорок седьмого; жизнь улучшалась, но не так быстро, как этого хотелось.
Я вдруг вспомнил, что после института Самарин решил работать в таежном поселке.
— Небось, и школу себе присмотрел?
Он молча улыбнулся, а я подумал: «Наверное, так оно и есть».
Гермес начал распаковывать вещи. Даже Самарин, всегда невозмутимый, присвистнул, когда тот извлек из мешка баранью ногу, обернутую пропитанной салом бумагой. Понюхав баранину, Гермес объявил:
— Надо поскорей съесть.
— Съедим! — обнадежил я: при виде бараньей ноги у меня потекли слюнки.
Кроме баранины, больших и маленьких дынь,

яблок и других фруктов, Гермес привез много-много лепешек, величиной с хорошую сковородку, и очень скоро наша комната стала напоминать продовольственный склад: всюду — на полу, на столе и на подоконниках — лежало съестное, источая сногсшибательные запахи.

— Давайте рубать! — не выдержал я.

Гермес поддержал меня, и мы, освободив часть стола, дружно налегли на баранью ногу.

Волков пришел во второй половине дня, когда спала жара. И не влез в окно, как раньше,— вошел в дверь.

— Ба, ба, ба! — встретил его Гермес и кинулся обниматься.

Самарин молча стиснул Волкову руку.

— Заждались! — Я улыбнулся во весь рот.

— Дела...— сказал Волков

— Слышали про твои дела...

— Скоро, братва, папашей стану.— Волков выдавил из себя смешок.— Я говорил ей и сейчас говорю: аборт сделай, пока время не ушло, а она — ни в какую.

— Запрещено же это,— напомнил я.

— Чихать я хотел на запреты! — воскликнул Волков.— Я так считаю: хочет человек ребенка — пусть, не хочет — его воля.

— Она же хочет,— сказал Самарин.

Волков вздохнул.

— В этом вопросе, братва, у нас полная несогласованность.

Я представил Волкова отцом, увидел его с ребенком на коленях и улыбнулся

— Она, судя по всему, тебя по-настоящему любит,— сказал Самарин.

— Это так,— подтвердил Волков.

— И, видать, с характером,— подумал вслух я.

— Чего, чего, а этого ей не занимать.— В голосе Волкова прозвучала гордость.

— Кстати,— сказал вдруг Самарин, обращаясь к Волкову,— ты где работаешь-то?

— В пекарне! Каждый день буханку имею. Завтра вам принесу.

— Вот как! Сколько же в этой пекарне человек работает?

— Сотни полторы, наверное. А что?

— Выходит дело, каждый день полторы сотни буханок — как вода в песок?

— Брось, лейтенант! — Волков с грохотом отодвинул стул.— Быть у воды и не намокнуть?

— Эх, Волков, Волков! — сказал Самарин.— Смотри, не скатись.

— Ты о чем, лейтенант?

— Не прикидывайся! Вспомни-ка, как осуждал дружка-сержанта. который покупал за пятерку и перепродавал за червонец.

Волков смутился.

— Жить-то надо.

— Надо. Только честно.

— Это легко сказать,— тотчас возразил Волков.— Вот ты, к примеру, чего нажил, что имеешь? Кого-кого, а тебя-то жизнь поломала.

— Ты про это? — Самарин притронулся к дырочкам на гимнастерке.

— Хотя бы!

Против этого трудно было возразить, но мне хотелось, чтобы лейтенанту вернули его награды, и я верил, что рано или поздно это сбудется

— Про что спор, ребята? — В комнату в сопровождении Нинки вошел Курбанов. Вместо темного шевиотового костюма, в котором он постоянно ходил, на нем были полотняные брюки и такая же куртка с узким стоячим воротником, застегнутым на крючок. Он пожал нам руки, застучал палкой, отыскивая свободный стул.

— Сюда.— Нинка подвела его к табуретке.

— Так про что же спор, ребята? — повторил Курбанов.

Самарин обвел нас взглядом, усмехнулся.

— Волков вот в пекарню поступил. Похвастал: каждый день буханку будет иметь. А она на базаре — сотня.

Курбанов помолчал.

— Трудно нам пока живется, ребята.

— Правильно! — подхватил Волков.

— Не торопись,— остановил его Курбанов и стал говорить про неурожай в России, напомнил, что бывшие союзники сейчас крутят-вертят, что Черчилль не так давно речь сказал, в которой что ни слово — против нас выпад; но еще не позабылось и никогда не позабудется, как он рассыпался в своем уважении к советскому народу и прочие чувства изливал, слезные письма присылал Верховному, когда у них в Арденнах полный швах получился, теперь же воду мутит, американцев на нас натравливает, а они атомной бомбой похваляются; но уже разговоры пошли, что будет и у нас эта самая бомба, так что пусть бывшие союзнички не очень-то. А пока ремешки приходится стягивать, потому что атомная бомба и прочая оборона — не копейки и не рубли, а миллиарды. Если бы не такой оборот, то эти бы деньги на мирные цели пустили, и тогда, конечно, жизнь враз улучшилась бы; но на нет, как говорится, и суда нет, не такое вынесли, сейчас еще ничего, жить можно.

— Так-то оно так,— процедил Волков.— Но...

— Сам решай, как жить,— перебил его Курбанов.— Ты не младенец, нянька тебе не требуется.

Самарин одобрительно кивнул. Волков вздохнул, стал мотаться по комнате.

— Зря ушел из института,— сказал ему Курбанов.

— Только и слышу: зря, зря! — с раздражением произнес Волков.— Даже Таська про это твердит.

Нинка задумчиво сидела у окна. Вдруг она быстро встала, отошла.

— Жилин приехал,— сухо объявила она.

Волков подошел к окну, удивленно произнес:

— И Варька с ним. Центнера по два на себе тащат.

— У Гермеса тоже тяжелые вещи были,— напомнил я.

— Гермес — это Гермес, а Жилин и Варька — это Жилин и Варька! — отрубил Волков. Сложив руки рупором крикнул: — Эй, смотрите не надорвитесь!

— Не балагань,— предостерег Самарин.

Я многое отдал бы за то, чтобы в нашей жизни не было ни Владлена, ни Жилина, ни таких, как Сайкин и Козлов. Я мог понять Игрицкого, потому что он был болен, но Варьку и Жилина — никогда. За лето я почти не вспоминал о них, и вот теперь, увидев их, ощутил острую неприязнь. Я все еще продолжал жить теми мерками, которые приобрел на фронте, я только вживался в мирную жизнь, оказавшуюся совсем не такой, какой она представлялась мне на переднем крае.

Посмотрев на своих товарищей, я сказал сам себе: «В себя верю. В хороших людей верю В добро и справедливость верю. И всегда буду верить в это, потому что хороших людей, добра и справедливости в жизни больше, чем подлости, гадости, лжи»...

Впереди были новые испытания, но я не представлял, какие...

(Конец первой книги)



Григорий
МЕДЫНСКИЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Два года назад в «Юности» (1974 г., № 8) был напечатан мой «Разговор всерьез» с ребятами трудной и поломанной судьбы, обратившимися ко мне с просьбой помочь им разобраться в жизни. Среди них была и семнадцатилетняя девушка Галя (имя, конечно, нами было изменено), которая из-за неправильного, я бы сказал, преступного поведения матери вступила на скользкий, опасный путь и теперь отбывала уже второй срок наказания за воровство. Здесь, в колонии для несовершеннолетних, под влиянием воспитателей, она продумала и поняла свою жизнь и написала мне многостраничное и откровенное письмо.

«Меня готовят к условно-досрочному освобождению,— писала она в заключение своей исповеди.— Я очень хочу на свободу, хочу учиться, работать и забыться от всего этого. Я хочу на свободу не для того, чтобы вновь воровать... Я хочу на свободу, чтобы вместо слез и бессонных ночей приносить пользу и радость людям. Но порой в мое сердце закрадывается сомнение: а не получится ли опять ошибки, как получилось однажды?.. Как вы думаете, могу ли я быть человеком, а не волком среди людей?»

Письмо было умное, аналитическое, самокритичное, и мне захотелось помочь этой девушке в той трудной и сложной борьбе, которую она вела с самой собой. Я ответил ей письмом, сущность которого сводилась к мысли, что «выработка личности — это процесс, протекающий во времени, это не одномоментный бой, а борьба, длительная и упорная».

Я не стал бы так подробно и обстоятельно пересказывать эту историю двухлетней давности, если бы среди многочисленных читательских откликов на нее не оказалось одного письма, которое я не могу оставить без ответа.

Пишет человек, который в свои 15 лет впервые попал в колонию несовершеннолетних за групповое вооруженное нападение на сберегательную кассу. Преступление тяжкое.

Теперь он описывает это так: «Нас подобралась группа подростков, которым нравились смелые и решительные люди, такие, какие показаны в американских кинобоевиках, проще говоря, гангстеры. И вот под впечатлением этих фильмов мы совершили пять ограблений. На шестом мы не учли некоторых мелочей, в результате чего были осуждены к разным срокам. Мне дали восемь лет».

Из последующего видно, что в колонии, как он пишет, «из протеста против царивших здесь порядков» он совершил еще два каких-то преступления и в результате, в момент написания письма, ему остается отбыть еще девять лет.

«Жизнь страшна и сурова, как тайга или непроходимые дебри джунглей, где ты один на один с природой и зверями и где сам становишься зверем, так как все кругом звери. Не укусишь ты, так укусят тебя. Так лучше я это сделаю первым».

Философия страшная!

Как же это получилось?

В своем письме автор признает, что «в колонии детям предоставлены, можно сказать, все возможности для исправления, т. е. учеба, работа. А что на самом деле? За двойку «активисты» устраивают такую потасовку, что не знаешь, на каком боку лежать. За плохое отношение к труду — то же самое. В колониях царствует кулак со стороны «актива». До сих пор в моей жизни не встретился ни один человек, который захотел бы принять участие в моей судьбе, поговорить со мной по-человечески, переубедить. Этого не было. Было обратное, отчего становишься злее и замкнутей. И потому все эти красивые слова о гуманности и человеческом отношении — ложь и игра».

Перед нами открывается океан проблем. Естественные, прекрасные черты юношеского, да и вообще человеческого, характера — «нам нравились смелые и решительные люди»,— не осмысленные и не озаренные светом нравственных начал и оценок (почему? чье упущение?), преломленные в призме чуждой идеологии (зачем? как? почему? чье упущение?), приняли искаженное, чуждое и злое направление, опасное для общества — да!— и общество было вынуждено принять меры. Пятнадцатилетний парнишка, заблудившийся в «дебрях» жизни, не понявший, вернее, не доросший до понимания того, что воля, смелость и решительность сами по себе, в их голом виде, без нравственных критериев, могут быть носителями величайшего зла как для самого человека, так и для общества, этот парнишка изолируется от общества и направляется в учреждение, где — по мысли общества — «предоставлены все возможности для его исправления, т. е. учеба, работа».

Как будто все правильно. Кроме одного: учеба и работа сами по себе — это педагогика в ее тоже голом виде, это только возможности, только у с л о в и я воспитания, но что они значат, если к ним не приложено самое главное — душа человеческая. Именно человеческие, то есть, по сути дела, нравственные отношения лежат в основе воспитания, а если вместо них «царствует кулак», то получается то, что получилось и в данном случае.

«Как жил, так и буду жить. Воровал и буду воровать. Мне нравится моя жизнь, полная опасностей и

приключений. По крайней мере я не скрываю своих взглядов и не кривлю душой, а говорю то, что думаю. Я не собираюсь убеждать других в правоте монх взглядов. Пусть каждый думает сам о себе и сам распоряжается своей жизнью, но без публичных выступлеиий и призывов к честной жизни.

А эта Галя ваша, которая написала письмо, оиа как была «домушиицей», так ей и умереть. Горбатого только могила исправит. Просто оиа приспособлеика, готовит почву на свободу, чтобы раиьше откииуться и чистить «хаты». Много я таких покаяниых овечек встречал иа пересылках. Не верю!»

Можно ли было такое письмо оставить без ответа?! Но отвечать было некуда.

«Подписываться я ие собираюсь... Можете опубликовать мое письмо, можете — нет, хотя зиаю зараиее, что оио остается в тайие. Вы боитесь правды».

Так заканчивалось письмо, а вместо подписи — «Феникс». Феникс — по древней легеиде — птица, которая, сгорая, каждый раз воскресает нз пепла.

Грамотиый «товарищ»!

По наведеиным справкам, Галя условио-досрочиого освобождения не получила, как имеющая повторную судимость — таков закон,— и по возрасту была переведена в колоиию для взрослых, адреса которой я не зиал. А через какое-то время мие удалось установить связь с ее бывшей учительницей по прежией колонии На мой вопрос о дальиейшей судьбе Гали Надежда Петровиа ответила письмом:

«Здравствуйте, уважаемый Григорий Александрович!

...Охотно выполняю Вашу просьбу.

Галя из нашей колонии была переведена в колонию для взрослых освободилась по концу срока. Роботает швеей, довольна своей жизнью.

Девочка оно умная, но не сразу нашла верный путь в жизни.

Григорий Александрович, я высылаю Вам несколько ее писем, может быть, они в какой-то мере заинтересуют Вас.

С уважением Надежда Петровна».

Письмо Гали из колоиии для взрослых:

«Здравствуйте, дорогая Надежда Петровна!

У меня все хорошо. Работою. За конвейером успеваю.

Приняли меня здесь хорошо. Со всеми в хороших отношениях, но друзей не ищу.

Вчера на беседу меня вызывала замполит. И какой-то еще инструктор. Они, окозывается, читали статью Медынского. Спросили, где бы после освобождения я хотела работать. Именно не туда, куда устроят, а туда, куда бы я хотела. И Вы представляете. с какими глазами мне нужно было бы сюда возвращаться. Ведь если я попаду еще раз, то только в эту зону Это невозможно! Вы понимаете, как это будет выглядеть? Это значит, все их труды напрасны, это значит. всем этим людям, желающим помочь мне, наплевать в душу Это значит быть подонком! Теперь я верю в то, что хороших людей очень много и главное — это быть самой хорошей, и все для тебя будут хорошими. И если трудно станет, нужно идти к людям, а не бежать от них.

Надежда Петровна! Большое Вам спасибо за все. Вот увидите, Ваш труд не пропадет даром. Я вам обещаю.

Пишите. Жду с нетерпением.

Вашо Галя».

Первое письмо после освобождения...

«Пишу Вам из дома. 1 марта приехало. Извините, что не написала сразу, но поверьте, не было времени. Как приехала, так сразу же пошли дела — фотографироваться но поспорт. встать но учет в милицию, получить паспорт. прописаться.

И вот я на работе.

Работаю на трикотажной фабрике. Швеей. Шьем комбинации. Роботою в 2 смены. Эту неделю пойду в 1-ю смену.

В общем, у меня все как нельзя лучше, и могу вас заверить, что к прошлому возврата не может быть ни в коем случае.

Вы мне верите?

Высылаю Вам фотографию. В знак того, что я помню о Вас, вспоминаю добрым словом. благодарностью. Вы для меня были самым близким человеком и останетесь им. За все Вам спасибо, дорогоя Надеждо Петровно!»

И еще три письма.

«Здравствуйте, дорогая Надеждо Петровна!

Знаете что? Я выхожу замуж.

28 октября регистрация. Парень хороший. Не пьет. Вместе работаем. Только в разных цехах.

Знаете, Надежда Петровна, иногдо мне кажется, что все, что было, было не со мной. Правда! Вот скоро я стану женой, а там и матерью. У меня будут свои дети. Ну, пусть через год, два. Это не меняет дела. И вот как-то мне... ну не знаю даже, тяжело, что ли, от того, что до всего этого, казалось бы, обычного и неповторимого, я шла таким вот нескладным путем. Ведь все это и любовь, и радость, и счастье—могло прийти и раньше и проще.

Я зною, он любит меня и все может простить. Но, понимаете, мне от этого не становится легче. Он такой... ну, хороший, а я... Он знаете, что сказал?

«Меня не интересует, что у тебя было в прошлом. Я вижу, какая ты сейчас, и мне этого достаточно!»

Я ему очень благодарна за все. А еще я очень благодарна за все Вам. Вы многое помогли мне понять Спасибо Вам и всем остальным, кто помогает прозреть слепцам, подобным мне. Еще и еще раз горячее Вам спасибо».

«Здровствуйте, дорогая Нодеждо Петровна!

Ну, у меня все и совсем хорошо. Готовлюсь к свадьбе.

Я рада, что могла выстоять, выдержать очень трудный экзамен. Я думаю, сейчас я могу это сказать с уверенностью. Ведь дома я уже более 7 месяцев. А главное, я встретила в жизни человека, очень хорошего. Да и не враг я сама себе. Ну неужели то. что у меня есть, я буду менять на нары, решетки?! Это же надо быть круглым идиотом!!!

Вы знаете, Надежда Петровна, у меня даже мысли в голове никогда не возникало. Вы, наверно, не поверите, но это действительно ток. И трудно порой было (чего уж там скрывать!), но... Я просто опять все представляло, и вообще мне как-то доже противно. Даже просто думать противно об этом. Нет, это даже не то слово. В общем, я думаю, вернее, уверена, что прошлое перечеркнуто навсегда».

«Здравствуйте, дорогая Надежда Петровна!

Извините, что долго не писала. Все как-то некогда. Появились какие-то новые заботы и хлопоты: то постирать, то помыть, то обед приготовить — я ведь теперь хозяйка дома.

Это, конечно, приятные заботы. И вообще, зноете, я считаю себя счастливой, и уже как-то по-другому смотришь на те или иные вещи. А казолось бы — что изменилось? Ведь в мире все так же, по-прежнему; а кожется, что и мир стол добрее.

Свадьба прошла хорошо, много было молодежи, было весело. Муж у меня очень хороший, спокойный, умный и внимательный. Если я в чем-то бываю неправа, он полушутя. чтобы не обидеть меня. старается указоть мне мою ошибку. А главное — он не

пьет и во всем мне помогает и ничем не пренебрегает· если я по какой-то причине не успею, он моет пол или вымоет посуду, поможет постирать. Одним словом, за 4 месяца совместной жизни я не могу сказать о нем ничего плохого.

Я, конечно, не знаю, как будет дальше, но ведь дальнейшее будет зависеть от меня самой, не так ли? А я сделаю все возможное, чтобы создать уют и тепло у нашего семейного очага».

Ну что ж, как говорится, совет им да любовь!

Вот так-то, обозленный на весь мир гражданин «Феникс»!

А получается ведь действительно «Феникс»: из пепла распавшийся в огне страстей личности на наших глазах воскресает новый человек. Что помогло? Хорошая колония, чудесный, душевный педагог Надежда Петровна, наше советское общество, а главное, конечно, самое главное — собственные усилия души, остановившейся у края пропасти и нашедшей в себе внутренние нравственные силы, чтобы увидеть все, понять все и сделать резкий поворот в своей жизни. Без этого поворота, без этих усилий никакая бы колония, никакая бы педагогика, никакие «учеба и труд» не могли бы ничего дать, как они не дали тому несчастному, потерявшему себя человеку, голос которого мы услышали в первом письме. Только нужно прислушаться, чего в нем больше — злобы или отчаяния?

Письма «Феникса» я переслал Гале. И вот ее ответ:

«Здравствуйте, дорогой Григорий Александрович!

Получила Ваше письмо, за которое хочется сказать большое, горячее спасибо.

Что я могу написать о себе? Одно лишь: я счастлива. С теплом и благодарностью вспоминаю я о Вас и всех тех людях, которые не отвернулись от меня, а помогли стать тем, что я есть.

Нет, это не красивые, пышные фразы, не фальшивые, публичные выражения, как соизволил выразиться «герой нашего времени», человечишка, назвавший себя «Фениксом». У меня язык не поворачивается назвать его человеком, ибо человек, как сказал Горький, звучит гордо. А он просто подонок, расписавшийся в своей слабости, малодушии, безволии и бессилии.

Нет! Вы скажите, «Феникс», что вам не хочется жить так, как живут все люди, жить, а не существовать, как это делаете вы. Но вы не способны, вы не можете, вы слабы для этого. Вы слишком низко опустились, погрязли в этой мерзости, пошлости и подлости. Вы, как затравленный волк, смотрите на людей и видите в них только плохое.

Вы пишете, что много встречали таких «покаянных овечек», которые, выйдя на свободу, продолжали заниматься тем, чем занимались. Что же? Возможно. К сожалению, не очень многие (я подчеркиваю: не очень многие) сразу могут понять свои ошибки и исправить их. Есть и такие, которые только прикрываются красивыми словами. Но их единицы. Рано или поздно человек понимает (если он действительно человек), что есть что. Правда, это бывает порой поздно. Но лучше поздно, чем никогда.

Вот вы бросаете вызов людям. «как воровал, так и буду воровать». Что ж? Каждый может смотреть на жизнь своими глазами. Только вы забываете, что жизнь не стоит на месте. Пройдет время, и вы станете дряхлым стариком, одиноким и никому-никому не нужным. Кто вспомнит о вас? Что вы оставите после себя? Презрение к себе, и больше ничего.

Ваша жизнь полна приключений и опасностей? Дрянь вы после этого! Люди за вас жизни отдавали, чтоб вы могли ходить, дышать. Мать рожала вас в мучениях, чтоб вы жили. Неужели не содрогнется ваше сердце, видя слезы и мучения вашей матери, морщины и седину от бессонных ночей, проведенных в ожидании и надеждах, что ее дитя наконец поймет, как низко он упал?

«Горбатого могила исправит»,— пишете вы. Таких, как вы, не исправит и могила. Вы плюете людям в душу и считаете себя героем. А ведь вы ничтожество, трус и подлец!

А что касается меня, то вопреки всем вашим предсказаниям я действительно навсегда порвала с прошлым и, представьте себе, не жалею. И хочу сказать тем, кто идет или пробует идти по скользкой и грязной дороге, по которой идет некий «Феникс», называющий себя человеком: «Остановитесь! Подождите! Вернитесь! Ведь вы же человек! Вы жить должны, а не прозябать». Ты, девушка, или ты, юноша, что толкает тебя? Тебе нечего есть? У нас голод, разруха? Вспомни, сколько людей отдали жизнь, чтоб ты был счастлив? Что же ты топчешь, ломаешь свое счастье? Ведь легче не допускать ошибки, куда труднее их исправлять. А если даже ошибся—остановись вовремя. И лучше понять это хотя бы поздно, чем никогда. Будьте ближе к людям, они всегда помогут. Помните, не тот друг, кто тянет тебя в грязь, а тот, кто поможет выбраться из нее и найти правильный путь.

Живите, трудитесь, любите, радуйтесь солнцу и жизни. Ведь жизнь, она одна. И если она пройдет мимо — ее не вернешь.

Григорий Александрович! Извините, если мое письмо окажется резким. Но меня до глубины души возмутило самонадеянное и омерзительное письмо этого подонка».

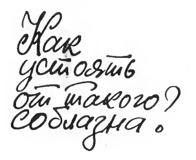
Ну, на этом, кажется, можно и закончить наш затянувшийся, но поистине серьезный разговор по серьезнейшим проблемам жизни. На наших глазах разыгралась драматическая схватка двух понимании, двух философий, двух нравственных начал и путей этой жизни — звериного и человеческого. Я даже не ставлю вопроса — который лучше и что выбирать? Для нормального человеческого сознания вопрос праздный. Достаточно вспомнить Некрасова:

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,—
Каким идти?

Хрестоматийные и потому, пожалуй, полузабытые теперь слова. А между тем это ведь перепутье, перекресток жизни, на котором каждый, как былинный богатырь, когда-то останавливается: куда идти и кем быть?

Вопрос в другом: как и что сделать, чтобы для этого нормального, подчеркиваю, а не исключительного, человеческого сознания, особенно молодого, неокрепшего, облегчить этот выбор пути? Не все ведь Ильи Муромцы. Пройдемся еще раз через все обстоятельства развернувшейся перед нами истории — разве нет среди них того, от поведения матери до «царства кулака», что не облегчает, а затрудняет этот выбор пути.

Человек и обстоятельства — вот главный перекресток жизни, и, предъявляя требования к человеку, мы не могли не предъявлять их ко всему и ко всем, кто создает обстоятельства. Это — требования жизни, требования времени, требования не школьной. а Большой Социальной Педагогики.





Дорогая редакция!

Я работаю в небольшой библиотеке. У нас есть еще несколько девушек примерно моего возраста (мне 19 лет). Вот эти девушки и еще одна моя школьная подруга и составляют мой круг. Но месяц назад этот круг едва не расширился...

Я ехала в старый наш дом на окраине Москвы, откуда мы переехали в новую квартиру,— мама попросила выкопать оставшиеся в саду луковицы тюльпанов. И вдруг возле нашего опустевшего домика встречаю одного парня, с которым иногда играла летом в пинг-понг. Он жил за несколько домов от нас. Так вот, этот парень — его зовут Алик — тащил с нашей террасы старое кресло-качалку.

Увидев меня, Алик ничуть не смутился и, заулыбавшись, сказал, что был уверен, что мы уже больше сюда не вернемся. Я спросила его, куда он тащит кресло. Он ответил, что оно ему очень понравилось, но если мы хотим его забрать, то он, конечно же, его отдаст. Это наше-то кресло! Но он говорил так легко и обаятельно, что я улыбнулась и ответила ему, что кресло нам не нужно. Он еще больше повеселел и пригласил меня зайти к нему в гости и посмотреть, как он устроил свою комнату в родительском доме. Очень ловко и мило он выспросил у меня, где я работаю, кто мои знакомые. И по мере того, как я ему все это выкладывала, тон у него становился все более покровительственным. «Да,— высказал он под конец.— Чудачка же ты. И как умудряешься только еще ничего выглядеть. Где батник-то достала?» Я ему сказала, что выстояла за ним три часа в очереди, после чего прокляла и себя, и моду, и все на свете. Но мне было приятно, что Алику понравилась моя кофточка.

Он сам был очень современно и красиво одет — в коричневые, прекрасно сшитые брюки типа джинсов, в мягкий кремовый свитер, из-под которого выглядывала светло-желтая рубашка. Словом, он выглядел фирменно. Узнав, что я простояла три часа в очереди, он скорчил гримасу и сказал: «Ну, тогда вся Москва в них ходить будет». Я почувствовала себя совершеннейшей простушкой, которая топчется в очереди и хватает то, что хватают все. И на мой вопрос, что же делать, он ответил: надо уметь жить, а не унижаться в очередях. Когда мы пришли к нему и осмотрели его комнату, в которой было очень много разных соблазнительных вещей: и финская стенка, и арабская тахта, и самовар, и японский магнитофон,— он начал меня учить, как надо жить. «Самое главное,— сказал он,— это знакомые. Без них даже при деньгах ты ничего не сможешь. Вот смотри, эту шикарную финскую стенку я смог достать через одного парня из мебельного магазина. Мы с ним почти каждую неделю в «Жигулях» сидим». Потом он рассказал, как этот парень познакомил его с другим «нужным» человеком, через которого он достал магнитофон и разные тряпки.

Вдруг он вспомнил, что Вера, которая тоже раньше жила рядом с нами, сейчас работает в большом универмаге. Он дал мне ее телефон и сказал, что я не должна упустить такую удачу, иначе я буду идиоткой. Я сказала, что обязательно позвоню Вере. Потом он спросил меня, нет ли у меня знакомых в аптечном управлении. Узнав, что нет, в сердцах воскликнул: «Да что у тебя есть!» Действительно, что у меня есть? Стол с карточками и книгами на работе, две-три подружки самые обыкновенные, родители-пенсионеры...

Признаться, я в общем-то всегда немного страдала от того, что мои родители не имеют возможности доставать фирменные вещи. Но я бы еще больше страдала, если бы мои папа с мамой специально водили дружбу с «полезными» людьми. Я выросла в другой обстановке — в нашем доме превыше всего ценится хорошая книга. Однако вот беда — я хочу быть красиво одетой, хочу, чтобы на меня было приятно смотреть. Выглядя современно, ты и сама чувствуешь себя увереннее и спокойнее.

Я созвонилась с Верой и попала на ее день рождения. Если бы я сама не оказалась в ее компании, то никогда бы не смогла даже и представить, что можно так много, так увлеченно говорить о приобретении вещей. Люди там были самых разных профессий, но говорили все об одном и том же. Вера порхала между гостями в каком-то невероятно ярком облегающем платье, доверительно шепталась то с одним, то с другим, о чем-то договаривалась. Ко мне она подошла только два раза в начале вечера (мы перекинулись тогда несколькими общими фразами) и в конце, когда, не глядя на меня, она устало сказала, что, мол, ты теперь знаешь, где я работаю, заходи, если что нужно.

Но я не пойду к ней в магазин. Не потому что я такая хорошая и сознательная, а потому, что у меня не хватит совести о чем-то ее попросить. Но вот если она сама мне позвонит — я ведь ей тоже дала свой телефон, потому что она вроде бы хотела прочитать «Королеву Марго»,— и сама что-нибудь предложит, то я никогда не откажусь. Вот так! Но она не позвонит, у нее есть какая-то знакомая в «Доме книги» на проспекте Калинина. Так что Алик может смело сказать еще раз, что я идиотка и не умею брать то, что просто само идет в руки. Но я не так уж похожу на идиотку, со мной читатели советуются насчет книг, я ведь вообще-то неплохо знаю литературу и не надо меня учить, что в жизни главное — это духовные ценности, я это знаю. Только вот что мне противопоставить умению Алика и Веры устраивать свои дела?

Ведь я так же, как и они, люблю модные и красивые вещи, так же, как и они, хочу выглядеть привлекательно и современно. Может, просто я не энергична и не умею как нужно общаться с людьми, может быть, я просто обречена из-за своей какой-то слишком совестливой натуры на все тяготы и неустройства быта? Ужасно ощущать какую-то свою ущербность и бессилие. Но как мне от этого избавиться? Как соизмерять свои желания и возможности, чтобы жизнь не превратилась в бесконечную погоню за вещами? И я чувствую, что в какой-то момент я могу вдруг стать верной Вериной подругой и завертеться в этом затягивающем круговороте купли-продажи. Вот ведь как!

Ира К.

г. Москва.

Владимир Михановский





Аргамак

Не говори, что это конь,
Скажи, что это сын,—
Мой сын, мой порох, мой огонь
И свет моих седин.
Быстрее бури он бежит,
Опережая взгляд,
И прах летит из-под копыт,
И в каждом — гром победный скрыт
И молнии горят.
Умерит он твою тоску,
Поймет твои дела,
Газель настигнет на скаку,
Опередит орла,
Гуляет смерчем по песку,
Как тень, нетерпелив,
Но чашу влаги на скаку
Ты выпьешь, не пролив.

Степи

В бело-пепельной непроходящей пыли,
В лязге траков и лунной тиши
Вы, казахские степи, меня обожгли
И простором коснулись души.

От всего, что тревожит в преддверии дня
И что в горле стоит, словно ком,
Вы, казахские степи, укрыли меня
Разнотравья шершавым ковром.

Против зла и обид не поможет броня,
Но врачует дыханье степей,
Вы, казахские степи, укрыли меня
Ветровейной кольчугой своей.

Ишим

Когда закат дымится тускло,
Как кровь на тающем снегу,
Река спокойно входит в русло
И застывает на бегу.
Она прошла сквозь долы, горы,
Колеблемые камыши,—
Неутолимые просторы
Степной немереной души.
Нагую степь она пронзила,—
Взгляни, как блещет лезвие,
И берег бренный оросила
И сердце буйное мое.

Мирюсь с загадочною далью,
Тебе, Ишим, она под стать!
И над твоей прозрачной сталью
Учусь обиды забывать.

✪

Ты знаешь, снятся мне поныне
Непривередливый курай,
Таволгоцвет — король пустыни
И серебристый молочай.
Смотрю на пламенный шиповник,
Что выкинул над нами флаг,
А узнаю змееголовник,
Кипрей и зреющий типчак.
Скажу ль, что память Казахстана
Навек в душе моей жива!
И у гробницы Тамерлана
Растет обычная трава.

Ночью

В палатке душно — душно и на воле,
Седьмой верстой меня обходит сон,
Мерцает неухоженное поле,
И серп луны над степью занесен.
И каждый миг, как вековечность, длится,
И чудится дыханье Иртыша,
Кулик неумолкаемо томится —
Чужая беспокойная душа.
Уснула степь под звездным покрывалом.
Качаются хмельные камыши,
Кулик зальется плачем запоздалым,
И снова тишь, как обморок души.

Неопалимая купина

Сражен батыр, на горькой тризне
Кумыса вволю и вина.
Но сбитой влет отважной жизни
Неопалима купина.
Когда ветра тот край омоют
И век пропьется не один,
Придет гончар, курган разроет
И звонкий вылепит кувшин.
Твоя рука его коснется,
Неважно, юн ты или сед,—
Кувшин немедля отзовется
Забытой песней бранных лет.

Дорога

Дорогá дорога,
Если кто-то ждет,
Встретит у порога,
К сердцу припадет,

Если до заката
Путь бегущий прям
И спешишь куда-то
Не по пустякам.

Встреча с суховеем

Суховей простоволосый,
Бесшабашная башка,
Солнцем тронутые плесы,
Своенравная река.
Повстречались мы однажды
Там, где клонится камыш.
Пью Иртыш, но гонит жажда,
И ее не утолишь.



Станислав **РАССАДИН**

«НЕ ДАЛЬШЕ, ЧЕМ В СОБСТВЕННОЕ СЕРДЦЕ»

1. «Женитьбу» надо ошинелить...

Вот проблема, неизменно волнующая многих, от педагогов до писателей: классика и читатель. Особенно юный читатель.

Как бы ни обстояло с этим дело, лучше или хуже, проблема будет волновать. Всегда будет насущной.

Читатель берет книгу Гоголя в руки. Зритель приходит на гоголевский спектакль. Ситуации близкие и разные, потому что чтение книги — куда более интимный акт, чем посещение театра. И менее наглядный. Ибо в спектакле «главным читателем» выступает режиссер.

Вот почему, озабоченный, по сути, проблемой приобщения читателя к классике, я на этот раз обращаюсь к театру. К «классическим» спектаклям.

Меня занимает то, *какой* приходит наша классика к сегодняшнему зрителю, каков ее путь к нему, каковы потери и приобретения на долгом этом пути. И еще — как сам зритель, наш современник, влияет на прочтение классики.

Не зря сказано Герценом: «Партер не чужой сцене...»

Но сперва один кажущийся на первый взгляд странным вопрос читателю «Юности» — надеюсь, он одновременно читатель Гоголя и Достоевского:

— Замечали ли вы, как многозначительна бывает всякая малая малость в великом искусстве? Ну, например, как по-разному относятся к своим причудливым фамилиям герои Достоевского и Гоголя?

Вернее, что до гоголевских героев, они-то к ним никак не относятся: в этом все дело. Голопупенко, Довгочхуну, Шпоньке или Голопузю решительно наплевать на странность собственных фамилий. Собакевич или Ляпкин-Тяпкин ее *не слышат*.

Совсем иначе у Достоевского. У него своих фамилий стыдятся, как дурной клички: это своеобразный «пунктик» его персонажей.

«Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?»

«Сударыня,— не слушал капитан,— я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната — почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя,— почему это?»

И Мармеладов, назвавшись, добавит виновато: «Такая фамилия».

И лакей Видоплясов мучится ее неблагозвучием, изобретая себе роскошнейшие псевдонимы: Танцев, Эссбукетов, Тюльпанов, Олеандров, Уланов, Верный...

Случайна ли разница? Нет, конечно. Тут сказалась решительная перемена в положении и самосознании тогдашнего «среднего» человека.

Герои Достоевского — порождения не одной авторской фантазии, но и наиреальнейшей российской действительности — страдают не только от своего конкретного положения, не только от голода и холода, но и оттого, что чувствуют его унизительность. Неравенство становится все очевиднее и все нетерпимее. В самоизлияниях персонажей Достоевского звучит не только: «Я голоден!», но и: «Я голоден, в то время как другие сыты!» Звучит униженный, придавленный, извращенный и все же протест.

У героев Гоголя *такого* болезненного сознания еще нет... за одним, впрочем, исключением (о нем и речь). В комедии «Женитьба» Иван Павлович Яичница все-таки выскажет желание называться на худой

конец «Яичницы», а отставной моряк Жевакин откликнется воспоминанием, что «у нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы,— все были с престранными фамилиями: Помойкин, Ярыжкин, Перепреев лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка».

В спектакле Театра на Малой Бронной эта тема, мелькнувшая в комедии вроде бы случайно и бесследно (так по крайней мере казалось), станет навязчивой: Леонид Броневой, играющий Яичницу, внутренне корчится всякий раз, как ему приходится называть свою фамилию, а Жевакин (Лев Дуров), недотепа и добряк, всю эту историю про Помойкина, Перепреева и, страшно сказать, Дырку словно бы и придумывает для утешения горемычного Яичницы.

В рецензии на этот спектакль, напечатанной в «Правде» (и чрезвычайно хвалебной), Г. Кожухова процитировала постановщика Анатолия Эфроса: «Женитьбу» надо оппнелить»... То есть открыть в комедии, которая слишком долго пользовалась малопочетной репутацией пустячка, несравнимого с разоблачительным «Ревизором», гуманную и страдальческую тему «Шинели», той, из которой, согласно знаменитой и тем не менее, кажется, апокрифической фразе Достоевского, «все мы вышли...»

Но спектакль открыл в пьесе не только «достоевские» ростки.

Может показаться, что в нем торжествует эклектичность. Дуров играет, несомненно, «из Достоевского»; его замечательный Жевакин братается с его же капитаном Снегиревым, с униженно-гордой «мочалкой» из спектакля «Брат Алеша»; извлечения из «Карамазовых» и даже эротический бред Жевакина об «италианочках» не что иное, как несбыточная мечта о счастье, тоска неприкаянности. Идем дальше: Антонина Дмитриева, сваха,— уже Островский. Броневой, играющий, как прежде говорили, «концертно», тот и вовсе из нашего века, из Эрдмана и Булгакова. Николай Волков (Подколесин) вдруг обнаружил явное родство своего персонажа с Обломовым. Ольга Яковлева (Агафья Тихоновна) заставила вспомнить о театре Чехова...

Остановимся на Волкове. На Подколесине-Обломове.

Илья Ильич Обломов, имя которого порою вспоминается с той непочтительной нарицательностью, что и имя Митрофанушки, трагичен. Достоин трагедии. Тот, кто был живым и естественным ребенком, кто остался до конца человеком порядочным, добрым и умным, превратился в воплощенную никчемность. А в подобной ситуации всегда есть две стороны: тот, кто не нужен, и те, кому он не нужен. Человек и общество.

Обломов — жертва фамильной (шире, как показал Добролюбов, всероссийской) болезни. Жертва обломовщины, которая не с ним родилась.

Подколесин — предчувствие Обломова. В спектакле он не мешок, не тюфяк, не лежебока; не зря он — для наглядности (по словам той же Г. Кожуховой) — лишен дивана. Он не пуст и не холоден внутренне, он только заморожен. Он значителен... Однако в каком смысле?

Спектакль, как все живое, не стоит на месте; я его видел дважды с солидным интервалом и был обрадован тем, что замысел со временем уточнился. Так, прекрасная актриса Яковлева сперва искала в простенькой Агафье Тихоновне некую незаурядность личности,— увы, напрасно, ибо в гоголевском тексте нет этого. Теперь она играет иначе: купеческая дочка интересна и значительна уже тем, что она человек, ждущий любви, задыхающийся без нее — разве этого мало, чтобы ей сострадать?

В спектакле значительна обыденность, прекрасна человеческая нормальность. Подколесин не Наполеон и не Декарт, он человек. Не больше, однако, и не меньше. Ему претит мысль о женитьбе ради выгоды или оттого, что все женятся, и разве нет естественного смысла во фразе: «А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, что «Эй, Степан, подай сапоги!». Натянул на ноги да и пошел?» Потом он влюбится в Агафью Тихоновну, и все тоже будет по-человечески понятно. Как и то, что его продолжает страшить заведенный, как часы, порядок сватовства, бессмысленная энергия свата Кочкарева, как (даже) его роковой и знаменитый прыжок из невестина окна. «Нет, нельзя; как же, и неприлично, да и высоко... Н у, е щ е н е т а к в ы с о к о...» — последние слова Волков произносит с горделивой отчаянностью человека, решившегося на некий взлет духа, да это и впрямь взлет, протест против автоматизма существования, в который Подколесин втянут жизнью и ее «волевой накипью» — Кочкаревым... Конечно, жалкий взлет, взлет комический (в спектакле — трагикомический), но его ли в том вина?

О Кочкареве. Его играет Михаил Козаков, еще лет десять назад не вовсе безвинно (хотя и не вовсе справедливо) воспринимавшийся многими как кинокрасавчик с «отрицательным обаянием», а ныне уже показавший свои действительные возможности в «Обыкновенной истории» и «Дон Жуане» (театр), в ролях Джингля и Джека Бёрдена (телевидение)... Сказал бы привычно о «расцвете таланта», если бы, напротив, цветение, слава богу, не кончилось, не началась пора плодоношения.

Это отступление не без причины: Кочкарев до чрезвычайности важен в спектакле, и важно, как он сыгран.

Кто-то сказал мне без особого удовольствия: «А не слишком ли много в спектакле Козакова?» Да! Слишком! В том-то и дело, особенно если учесть, что по хронометражу Кочкарев не главная фигура, отнюдь. Просто бессмысленная энергия всегда утомительна, а Кочкарев — это пламя, которое не греет, переполненность, за которой пустота, его дьявольская вездесущность не служит ни дьяволу, ни богу. Вернее, скорей уж дьяволу, только имя его не Вельзевул и не Воланд, а Вакуум.

Дьявол не случайно попался на язык. Мне кажется, спектакль открыл в такой уж, думалось, бытовой пьесе вариант давней легенды о Мефистофеле и Фаусте. Только этот Фауст ничего не хочет, а этот Мефистофель не знает, чего ему нужно. Так ведь и у Гоголя; Кочкарев, истративший неимоверные силы на то, чтобы окрутить Подколесина, вдруг замирает в недоумении: «Ну не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло?.. А просто черт знает из чего!» Театр этот мотив усилил; Козаков, торжествуя победу, пускается в пляс: «Этого только мне и нужно было!.. Этого только мне и нужно было!..» — и обрывает себя в горестном прозрении: «Э т о г о — т о л ь к о — мне и нужно было?..»

Только этого? Зачем? Для чего? Безответные эти вопросы замораживают волю Подколесина, они и неуемного Кочкарева хватают за фалды...

Театр почувствовал ужас Гоголя перед вакуумом, пустотой, бездуховностью, перед нехваткой общественного воздуха. Там, наверху, в недоступных для мелюзги высотах, задыхались Гоголь, Баратынский, Пушкин (о нем Блок так и сказал: «Пушкина... убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха»). Тут внизу, в низинах быта, по-своему, но тоже всерьез страдали крохотные россияне. Гоголь одним из первых ощутил их собедствующими собратьями. Оказаться пристальным театру помогла послего-



Театр на Малой Бронной. «Женитьба». Агафья Тихоновна (О. Яковлева), Кочкарев (М. Козаков), Подколесин (Н. Волков).

голевская литература, узнавшая боль «униженных и оскорбленных», исследовавшая явление обломовщины, короче говоря, помог духовный опыт многих художников, вплоть до Чехова, создавшего тип драмы, в которой, по его же словам, вроде ничего не происходит, люди всего лишь обедают, а между тем рушатся их жизни.

Гоголь и тут оказался провидцем.

2. Безнравия достойные плоды

Не стоит говорить о том, что Гоголь тут «обогащен». Искусство не коммерция, богатство в нем не накапливается и не умножается, но обнаруживается. Великая литература, трудно идя сквозь десятилетия, открывает в себе то, что еще не было внятно современникам, однако уже было. Поэтому оно взаправду живет, а не красуется, пришпиленное к стенке музея.

Можно, конечно, и пришпилить. Можно любовно оформить витрину. Только ведь даже легендарный Фауст, остановив мгновение, остановил его навсегда.

Режиссер Владимир Андреев с актерами Театра имени Ермоловой поставил Островского — «Не в свои сани не садись»; спектакль сняли для телевидения. Он умело срежиссирован, хорошо разыгран и невыносимо идилличен.

Неужели такой вот благостной была молодая русская буржуазия? Неужели вся беда, которая могла ворваться в добродетельнейший купеческий дом, шла разве что от промотавшегося дворянчика, да и то достаточно было домашнего средства, дабы искоренить непрошеную заразу?

Но, ежели так, ежели такой была Россия и русское купечество, ежели царили в ней тогда добрейшие купцы и добродетельнейшие кабатчики, с чего тогда мучился неустройством жизни Достоевский? С чего воевал с «чумазым» Щедрин? Проклинал обывателя Горький? Смеялся и горевал Чехов? Может, тогда уж нам собраться с духом, да и отнестись к ним ко всем так, как отнесся к Льву Николаевичу Толстому проницательный Семен Невзоров, персонаж «Ибикуса» Алексея Толстого:

«...Это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать»...

Что ж, объявим беспокойных гениев неврастениками от несварения желудка?

Не сумеем. Не позволит историческая и нравственная память.

Легко возразить, но спектакль-то верен Островскому — текстуально, во всяком случае! Что ж делать, если сам Александр Николаевич в ту пору отдал дань славянофильским иллюзиям?. Не выбрасывать же слово из песни.

Но песня складывается не из одного слова.

То, что показал нам Андреев, опроверг сам Островский. И как опроверг — «Бесприданницей», «Грозой», «Горячим сердцем», да и ранним «Банкротом» тоже. Рыла и вышли рылами. Жизнь писателя — трудный процесс, но единый все-таки, и нельзя остановить мгновение, нельзя предпочесть одно слово песне — получится неправда.

Повторюсь: режиссер и актеры знают свое дело... Впрочем, свое ли? Дело ли это для современных художников — умильно реставрировать купеческие добродетели, делать торгаша средоточием национальной красоты? Где их историзм?

Вот уж какого вопроса я не задал бы Андрею Гончарову, поставившему в Театре имени Маяковского другую раннюю пьесу Островского, «Банкрот, или Свои люди — сочтемся».

Я заметил: людям театра свойственна особая конкретность мышления (оно и понятно: им-то приходится выражать мысли не в одних словах, а в реалиях); оттого режиссеры часто пишут лучше критиков. Не перестает восхищать меня сильная своей материальностью (она же точность) фраза замечательного режиссера А. М. Лобанова:

«Идея в спектакле — как пружина в матраце. Если она выпирает, больно сидеть. Но если ее нет, нет и матраца».

Хорошо, правда?

В «Банкроте» идея не выпирает, разве что чуть-чуть. Но она все время пружинит в этом озорном и умном спектакле, не давая ему опадать.

Правда, однажды мне пришлось встретить в его адрес упрек, схожий с тем, что я сам недавно высказал: купец Большов непомерно добродушен для самодура и мошенника. И в самом деле, Игорь Охлупин отдал Самсону Силычу как будто слишком много собственного обаяния — и задолго до того, как Большов окажется плачевной жертвой Подхалюзина, замоскворецким Лиром.

Но это как раз проявление мысли — острой, современной.

Сперва, впрочем, не о Большове — о Липочке, Олимпиаде Самсоновне. Вот открытие нашего театра и кино — Наталья Гундарева. Ею любовно восхищаешься с первых минут, когда Липочка в нелепом своем вальсе врывается на сцену и посуда в шкафу звенит от ее тяжеловесной грации...

Куда как просто схватить меня за руку: ах, «любовно»? Островский смеется над Липочкой, а вы любуетесь? А сам-то говорил...

Нет, в том и удача, что Гундарева все время ощущает расстояние между собой и Липой. Даже слова «тяжеловесная грация», и те я сказал не в укор изяществу актрисы: изящна Гундарева, тяжеловесна — Липочка. Такое «двойное вúдение» вообще в духе спектакля. Отошедшая жизнь оживает в трезвом и ясном сегодняшнем свете.

Взять ту же Липочку: да, над ней смеешься, но и любуешься тоже. Она глупа, нелепа, вульгарна, однако и обаятельна. Ребенок не может быть необаятелен, а она пока еще ребенок, пусть избалованный, настырный, временами злой. Я говорю «пока еще», потому что будет финальная сцена, где Липочка, Алимпияда... нет, уже Олимпиада Самсоновна, разом похорошевшая и даже обретшая какой-то вкус (потому что стала дамой, добилась своего, почувствовала себя прочно), окажется ледяной, злой, корректно-жестокой, мигом утратившей свое какое-никакое, хоть дурашливое, а обаяние.

В этой сцене актрисе, наверное, особенно трудно: прежде она играла щедрее и заразительнее, а тут мысль спектакля потребовала самоограничения.

Вот почему можно (нужно) было изобразить старика Большова простодушным. Он простодушно безнравствен, простодушно уверен, что в мире нету ни добра, ни зла — выдумки. Нет, есть, конечно, но рядышком, в семье, в приятельском кругу: если дружок схитрил да объявил себя банкротом, а сам-то Большову должен остался, тут Самсон Силыч покоен: отдаст. Свой. А кругом, поодаль, в мире — какие там правила, какая честь? Чужому-то можно и сапоги на картонной подошве сбыть — даром что он потом твою лавку за сто верст обойдет, даром что срамить будет, даром что это (прошу прощения за каламбур) недаром: невыгодно... Так или иначе, стыдиться нечего. Другие — подлецы, а мы чем хуже (то есть, лучше)?

Потому-то симпатичный Силыч, ничуть не страдая от мук эфемерной совести, идет на подлог: иначе он как бы даже выпадет из общего устройства. Потому-то и растет в его доме (в его мире) такая Липочка, меняющая детский эгоизм на мертвую хватку. Подхалюзин — уж на что жулик и негодяй, а и он готов пожалеть старика Большова, выручить из долговой ямы, но робко никнет под беспощадным взглядом супруги.

Движение жизни, беспощадную закономерность ее проследил спектакль. Ситуация не нова: в «Недоросле» Митрофан отрекался от своей матери, оказываясь даже хуже ее, а резонер Стародум заключал: «Вот злонравия достойные плоды!» Здесь — плоды, так сказать, б е з нравия. Пустоты. Духовного вакуума.

Спектакль «Банкрот» историчен. Поэтому он современен.

3. Стадия современности

Тут нет эксцентрической парадоксальности. Историчность и современность не соперники, они союзники.

Помню давний разговор с моим другом историком. Мы вышли после одного из спектаклей по чеховским «Трем сестрам», и он сразу взволнованно заговорил о том, что прежде ни мне, ни даже ему как-то в голову не приходило: в какую политическую партию решились бы пойти Ирина или Ольга, о том, что младшая из сестер вполне могла дожить до наших дней (тут нехитрая арифметическая прикидка), в общем, мы не умозрительно, а чуть ли не физически ощутили т о г д а ш н ю ю современность пьесы. То есть, почувствовали и с е г о д н я ш н ю ю современность ее.

Наше настоящее растет из нашего прошлого, продолжая и оспаривая его. История — это то, что сделало нас такими, какие мы есть. Вот простейшие истины, которые нам в нашей «лихорадке буден» бывает все же трудно осознать.

Валерий Брюсов, записывая свои юношеские воспоминания, рассказывал, как жадно слушал он стариков, которым пришлось быть современниками Пушкина, говорил, что при этом он испытывал «чувство жуткости — сознанье, что через них я близок к далекому прошлому». Эти старики, писал он, «как бы составляли звено в цепи, которая от меня доходила до Тютчева, до Пушкина, до Екатерины».

Могу сказать, что примерно то же «чувство жуткости» испытывал и я, общаясь с Маршаком или Чуковским: я пожимал руки, касавшиеся рук Стасова, Короленко, Блока, Шаляпина... Странно, не правда ли? Но как, значит, все они недалеки от нас...

В музеях такого не испытываешь: там неживые вещи.

Музейные прикосновения к классической пьесе оставляют нас — в лучшем случае — холодными. Но если театр бросает ее в водоворот ее эпохи, обнаруживая в ней ту, давнюю, современность, он не удаляет пьесу от нас. Он ее к нам приближает.

Настоящая современность в постановке старой пьесы (я уверен) есть результат чуткой и честной историчности.

Илья Эренбург писал о «Ревизоре»: «Как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности, он волнует людей сто лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почтмейстеры».

Можно добавить, что, переживая «стадию злободневности», великая пьеса никогда не переживет с т а д и ю с о в р е м е н н о с т и. В ней она родилась, в ней остается. Куда ей деться, куда ей податься из немелеющего потока, соединяющего «вчера» и «сегодня»?

Надо «всего лишь» эту современность увидеть. Могу пояснить свою закавыченную иронию: «всего лишь» и есть самое трудное.

«Балалайкин и $К^0$», инсценировка «Современной идиллии» Щедрина, сделанная Сергеем Михалковым и поставленная в «Современнике» Товстоноговым, — спектакль не только остроумный и яркий, но... ска-

зал бы: добросовестный, если бы слово это так часто не употреблялось как снисходительная маскировка старательной бесталанности. Впрочем, как выразился один герой Островского, нет, это слово хорошее. Пьеса и спектакль добросовестны, настаиваю на этом. Театру интересен Щедрин и то, ради чего родилось это язвительнейшее и печальнейшее сочинение; театр хочет прежде понять, а уж после сыграть, оттого в спектакле есть грусть и любопытство.

Происходящее в щедринской «Идиллии» — нонсенс, бред, реникса, это и гиперболой-то назвать поостережешься. А все — правда. Так и на сцене. Два интеллигента, искупающие свои туманные либеральные грехи весьма, казалось бы, странным способом — погрязая в грехах уголовных, это фигуры выморочной и жуткой, но реальной жизни семидесятых годов прошлого века. Они не плоские карикатуры, и режиссер поступил весьма умно, поручив роли этих двух, Глумова и Рассказчика, актерам изначально обаятельным, Валентину Гафту и Игорю Кваше (Кваша и под эксцентрическим гримом первого министра в прославленном «Голом короле» был неотразимо симпатичен, а Гафт никуда не может деть свою привлекательность даже в ролях кинонегодяев).

А Балалайкин, профессиональный бесстыдник и немыслимый лгун? Не зря виртуозно сыгравший его Олег Табаков отдал ему вдохновенный пыл другого, несыгранного и «вымечтанного» им великого враля — Ивана Александровича Хлестакова. Вдохновенный, то есть снова уводящий образ из карикатурной плоскости в третье измерение.

Да что Балалайкин! Сам организатор этого любопытного исправдома, квартальный Иван Тимофеич (Петр Щербаков — еще одна отличная работа в богатом ими спектакле) не умозрителен, как символ, а понятен, как человек. Все понятно — и его небескорыстная служебная ретивость и вовсе не глупое намерение создать круговую поруку уголовно замаранных людишек (таким не до крамолы)...

Сложность наших отношений с театральной классикой велика. Велик соблазн насильно вернуть ей «стадию злободневности», притиав старую пьесу в современность, как по этапу, но нарушатся художественные пропорции, обедится произведение. А заниматься реставрацией, отключившись от забот современного художника, значит столь же насильно вырвать пьесу из «стадии современности», стадии непреходящей (в этом я уверен).

— Любовь к истории — это же, по сути, любовь к жизни, — так сказал мне мой друг историк, тот, с которым мы рассуждали о возможной судьбе чеховской Ирины.— Иначе выйдет любование стариной, так сказать, антиквариатом. Есть люди, путающие понятия. «Уходите в историю»,— говорят они. А мне им хочется ответить: «Слушайте, в историю не уходят. К истории приходят, чтобы поразмыслить. В этом все дело!»

4. Меняющийся Мольер

И все же я так часто повторял: историчность, бережность, добросовестность, что самого так и тянет оправдаться.

Я не только не против творческой смелости, наоборот. Без смелости историчность превратится как раз в реставрацию.

И мне нравится раскованность, с какой Григорий Горин написал вольную импровизацию по мотивам бельгийской классики — «Тиля Уленшпигеля» (спектакль «Тиль» в Театре имени Ленинского комсомола, ярко поставленный Марком Захаровым и запомнившийся праздничными дебютами Инны Чуриковой и Николая Караченцова). Смелость оправдана и тем, что костеровский «Тиль» тоже задорно-импровизационен, и тем, что Горин увидел старую книгу глазами человека двадцатого века... Других-то у него и нет.

Средневековая инквизиция и подобострастная робость толпы, готовой чуть ли не приветствовать зверства (в стотысячный раз вспомним старушку, заботливо подкладывающую дровишки в костер Яна Гуса)... Как нам отделаться от ассоциаций, которые были нашим опытом: от истоков и истории немецкого фашизма, вскормленного покорным быдлом и жестоко вмешавшегося в нашу с вами судьбу? А главное: надо ли отделываться?

В спектакле Тиль разговаривает с Филиппом Испанским, и монарх вдруг просит фламандского голодранца понять и его. Что ты знаешь, Тиль, о моих ночных мучениях?.. Ты мстишь мне за сожженные дома, Тиль, но ты ведь не ненавидишь землетрясение?.. Наконец, ты художник, Тиль, но вместо того, чтобы создать великие полотна, ты погибнешь, как безвестный бродяга,— разумно ли это?.. Не так все просто!.. Все сложнее, Тиль...

Тут есть все — и логика и здравый рассудок. Нет одного — сердца. И высшая мудрость искусства — отказаться от этой здравомысленности, отшатнуться от мнимой сложности. Злодею — злодеево. Поэту — поэтово.

И Тиль, чуткий ко всякой несправедливости, обрывает короля, не хочет «войти в его положение». Художник, каким бы психологом ни был он, не может «понять» Гитлера: искусство — средоточие нравственности, торжество человеческой нормальности. Оно неуступчиво...

Сейчас я говорил об инсценировках, которые по природе своей исключают рабскую верность прозаическому оригиналу. Это случай очевиднейший и оттого (для нашего разговора) простейший.

Но есть случаи и посложнее.

Мольеровский «Дон Жуан» в Театре на Малой Бронной сразу был принят зрителями и прессой, а, может быть, кульминацией его пути был «Гран-при» в Югославии, где спектакль выдержал соперничество с постановками (шутка сказать!) Ингмара Бергмана и Конрада Свинарского. В то же время были и озадаченные: оставшийся в неприкосновенности текст Мольера зазвучал неожиданно...

Вот уж кто давным-давно миновал «стадию злободневности» — «Дон Жуан». Может ли нас, сегодняшних зрителей, так уж тронуть отношение Жана-Батиста Мольера к тогдашней знати, его счеты с нею? Но и в ту пору разве к этому сводилась комедия?

Пушкин, может быть, все-таки слишком уж резко противопоставил Шекспира и Мольера: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков... У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен».

Оставим Гарпагона и Шейлока, но Дон Жуан! Он безнравствен и щедр; он холоден, и он же немедля бросается в драку, когда несколько человек нападают на одного; он циничен, но и свободен в размышлениях, чем повергает в ужас своего слугу, жадного и лицемерного Сганареля...

Впрочем, в спектакле Дон Жуан — другой и Сганарель — другой. Играющие их Волков и Дуров, два



Театр имени Ленинского комсомола. «Тиль». Катлина (Е. Фадеева), Тиль (Н. Караченцов), Неле (И. Чурикова).

актера, в последние годы оказавшиеся из лучших в нашем театре, играют не только, так сказать, самих себя, но целое (еще в этой паре предстают Михаил Козаков и Леонид Каневский, так вот, невозможно вообразить, чтобы Каневский сыграл с Волковым, а Дуров с Козаковым; это два разных типа взаимоотношений, даже два спектакля).

У Мольера Сганарель, существо ничтожное, все-таки отчего-то не хочет расстаться со своим хозяином, хоть и кляиет его. Что-то его удерживает. В спектакле — уверенный ответ: Сганарель обожает Дон Жуана. Обожает — и мучится. Ибо, добрый и добродетельный, никак не может опровергнуть ужасающие его доводы хозяина.

Дуровский Сганарель — «сплошное сердце». Сердце без поддержки разума. Сердце беззащитное и беспомощное. А Дон Жуан — разум, решившийся обойтись без сердца.

Разум — как ему самому кажется — всесильный.

Хозяин и слуга — словно бы расщепленное единое гармоническое целое. И тянутся друг к другу, как разъединенные половинки.

Этот Дон Жуан, выражаясь по-современному,— экспериментатор. Он хочет испытать все и себя в первую очередь: любит — и отказывается от любви, верит — и отрекается от веры. Его мощный ум, который, как светильник бабочек, губительно притягивает всех, от Сганареля до женщин, идет через новые и новые, себе самому воздвигаемые препятствия, пока наконец Дон Жуан не решится испытать себя в мерзейшем грехе — в лицемерии.

И тут он гибнет.

Отчего? От каменной десницы мстящего Командора? Но Командор, каков он в спектакле, даже напугать, и то не в состоянии: на сцену выходит тощенький человечек в будничной одежонке. Да и сам Дон Жуан не «проваливается», а падает наземь так, как падают обессилевшие, истощившие свою жизненную энергию люди. Не падает — опадает.

Это смерть от инфаркта, будничная и трагическая. Просто сердце не выдержало нового испытания, не смогло, оказывается, подчиниться распоясавшемуся разуму; выяснилось, что разум без сердца еще беззащитнее, чем сердце без разума.

В спектакле прозвучала одна из современнейших тем, ибо не мы ли современники уверенных технократов, надеющихся, что робот с успехом заменит человека, что духовная жизнь — раба рассудка, что искусство должно откатиться в область досуга и забавы, что человеческая слеза — сентиментальный пережиток?..

Да, мольеровский текст остался на месте: его не уродовали отсебятинами, по крайней мере чрезмерными, не резали беспощадно то, что не влезало в концепцию. Но в р е м я сдвинулось с тех пор. И вместе с временем двигался, жил Мольер и созданный им многомерный характер.

На протяжении веков переосмыслялся образ Дон Жуана, испанского гранда, жившего, как говорят, в четырнадцатом веке. Был беспросветный негодяй в комедии Тирсо де Молина, был, как говорится, «сложный и противоречивый» человек у Мольера, был романтик в опере Моцарта, был пробуждающийся к свету и любви повеса в маленькой трагедии Пушкина... кем-то подсчитано, что в мировой литературе было больше ста пятидесяти Дон Жуанов, причем не прихоть фантазии руководила художниками: образ пересоздавался в р е м е н е м.

Сто пятьдесят в литературе... А в театре сколько?

Одна мольеровская пьеса, и та в руках разных постановщиков и на подмостках разных эпох поворачивалась к партеру разными сторонами. Разными, но в то же время своими собственными, существующими, ждущими лишь своего открытия и осмысления.

Кончу цитатой из Герцена, из которой вырвал несколько слов для начала этой статьи:

«По сцене можно судить о партере, по партеру о сцене. Партер не чужой сцене; он вроде хора греческой трагедии; он не вне драмы, а обнимает ее волнами жизни, атмосферой сочувствия, которая оживляет актера; и сцена, с своей стороны, не чужая зрителю: она переносит его не дальше, чем в собственное сердце».

реакторах при производстве соды и в других случаях. Резервы химической промышленности здесь огромны.

Магнитная обработка воды, на которой замешивают бетон, резко ускоряет его твердение, повышает прочность изделий, делает удобной его укладку, позволяет снизить на 10—20% расход цемента. Учитывая потребность страны в цементе, можно сэкономить цемента столько, сколько производят 10—15 цементных заводов. Да и качество бетонов, их твердость морозоустойчивость могут быть выше. Омагничивание воды при производстве бетона уже практически применяется десятками предприятий.

Нечто похожее достигнуто и в производстве кирпича — строительного и огнеупорного. Прочность его возрастает на 30—70%, значительно увеличивается стойкость кирпича в вагранках. Заметно улучшаются такие промышленно важные процессы, как обогащение руд флотацией, фильтрацией, сгущение, растворение и кристаллизация. Магнитная обработка воды, применяемая на многих рудниках Урала и Забайкалья, примерно вдвое повышает улавливание пыли при добыче полезных ископаемых, оздоравливает условия труда шахтеров. Доказано, что такой обработкой можно значительно улучшить самые различные процессы при производстве синтетического каучука, аккумуляторов, жидкого аммиака.

Особое место занимают результаты, полученные несколькими институтами, ведущими работы в области сельского хозяйства. Оказывается, при поливе омагниченной водой на 20—40% возрастает урожайность, удается улучшить рассоление почв (что крайне важно для сельского хозяйства). За рубежом опубликованы данные о поливе полей омагниченной морской водой (вместо пресной).

Наконец, медики получили первые данные об излечении некоторых заболеваний (например, мочекаменной болезни) с помощью омагниченной воды.

Все это только примеры возможного практического применения омагниченной воды. Но большие практические результаты получены пока чисто эмпирическим путем, «методом проб и ошибок». За ними не стоит действенная теория. И вовсе не потому, что инженеры и ученые прикладного профиля не оценивают необходимости создания такой теории. Наоборот, они всячески доказывают ее важность. Но малыми силами, без привлечения всего арсенала современных фундаментальных наук этого нельзя сделать. Положение осложняется существовавшими ранее теоретическими сомнениями в том, есть ли принципиальная возможность изменять свойства воды под действием относительно слабых магнитных полей.

Аномалии, которыми изобилует вода, требуют серьезных работ в области физики.

Практики, естественно, не могли докопаться до первопричин, вызывающих уменьшение образования накипи в котлах при использовании омагниченной воды. Многое теперь стало ясно, но проблема разрослась и уже не укладывается в привычные понятия, ей необходима «большая наука».

В результате вдумчивого рассмотрения вопроса лучшими нашими физиками, Бюро Отделения общей физики и астрономии Академии наук СССР под председательством академика Л. А. Арцимовича несколько лет назад отметило, что «...накопленные экспериментальные данные свидетельствуют о возможности временного изменения свойств воды, содержащей примеси, после воздействия на воду в определенных условиях магнитных и электромагнитных полей. Это оказывает положительное влияние на некоторые технологические процессы, однако механизм явления пока не установлен».

Сейчас уже рассматривается ряд гипотез, привлекается особое внимание к свойствам различных примесей. За последнее десятилетие состоялось три больших всесоюзных совещания, посвященных теории и практике омагничивания воды. Появились тысячи публикаций. Авторы их в основном молодые исследователи. Но это лишь начало, и, наверное, только молодому поколению ученых суждено достойно завершить, во всяком случае, продолжить начатый путь. Залог тому — успешная деятельность таких молодых ученых, как В. Зеленков, Л. Сапогин, В. Духанин, Г. Ерыгин, и многих других.

Хотелось бы заметить, что история развития гелиобиологии, магнитобиологии, «омагниченной воды» свидетельствует о том, что людям, работающим в этой области, необходимо большое, если так позволительно сказать, научное мужество. Подавляющее большинство ученых и инженеров работает, не страшась трудностей. Они часто жертвуют во имя идеи не только временем, но и определенными жизненными благами. Ведь по-настоящему новая крупная проблема при разработке ее требует большого упорства, выдержки, веры, и гарантировать ее быстрый успех невозможно. По-видимому, уже наступило время признания глобальной роли действия слабых магнитных полей на живую и неживую природу.

Среди тех ученых, которые работают над проблемой омагниченной воды, одним из первых по праву должно быть названо имя самого Вилли Ивановича Классена, по существу, возглавившего все эти исследования в стране.

Вместе со своими учениками и сотрудниками В. И. Классен открыл много прежде неизвестных науке свойств омагниченной воды (на их-то основе и создано новое направление использования воды). Эти открытия нашли применение в промышленности и уже сейчас приносят миллионные прибыли.

В печати (включая и академическую) опубликовано около 40 работ профессора Классена, посвященных омагниченной воде. В 1973 году издательство «Наука» выпустило в свет книгу ученого «Вода и магнит». С докладами об омагниченной воде В. И. Классен выступил на двух крупных международных конгрессах и возглавлял всесоюзные совещания, посвященные этой актуальной проблеме (а каждое совещание — это более ста докладов и сообщений).

И все эти открытия, публикации, внедрения сделаны в основном за последние десять лет. Десять лет — срок небольшой даже в истории современной науки.

Только вера в идею способна наделить человека той удивительной преданностью делу, энергией и работоспособностью, которыми обладает В. И. Классен. Видимо, именно эти качества сам ученый и называет научным мужеством.

Хорошо представляю: Вилли Иванович прочтет этот материал в журнале, тут же наберет номер моего телефона и быстро-быстро скажет своим мягким голосом: «Спасибо, что о магнитной воде написали». Потом энергично посетует, что еще мало, мало сделано. Потом так же быстро-быстро скажет о неотложных работах. И положит трубку, коротко попрощавшись, будто боясь потерять минуту. Но ведь это правда: без минуты часа не бывает, а из этих часов — из непотерянных часов — и складывается подлинная жизнь человека.

Беседу вела
Галина НИКУЛИНА





ФОТОГРАФ С МАЛОЙ МОРСКОЙ

Одним из первых в России фотографов был шотландец Вильям Каррик. Большая Советская Энциклопедия отмечает, что фотограф-художник Каррик пользовался в прошлом веке широкой известностью. Рассказ о Вильяме Каррике, иллюстрированный его фотографиями, нашему журналу предложила его внучатая племянница Фелисити Эшби, преподаватель рисунка и живописи одной из лондонских школ. Недавно она побывала в Москве. Подготовка публикации и перевод с английского Евгении Каменевой.

Вверху на снимке: петербургский трубочист. Этот снимок Вильям Каррик сделал в шестидесятые годы в своем ателье на Малой Морской.

И отец и дед будущего фотографа занимались лесоторговлей и принадлежали к числу тех предприимчивых шотландцев, которые в восемнадцатом-девятнадцатом веках обосновались в Петербурге и Кронштадте. В небольшом особняке купеческого квартала Кронштадта и прошло раннее детство Вильяма.

Когда мальчику исполнилось девять лет, было решено послать его в Санкт-Петербург, в английскую школу мистера Фишвика, чтобы он мог хорошо освоить родной язык. Он должен был жить теперь в городе, и его поручили заботам некоей миссис Вильсон, которая содержала скромный пансион на Галерной. И Вильям вырос, одинаково владея английским и русским языками, а затем изучил еще французский и немецкий.

В 1840 году у Эндрью и Джесси Карриков появился второй мальчик, Джордж-Лайон, а два года спустя девочка Джесси-Мэри, которая приходится мне бабушкой.

Тем временем старший, Вильям, не обнаруживая склонностей к деловой карьере, больше всего инте-





Еще две работы Вильяма Каррика шестидесятых годов: слева — петербургская молочница, справа — приволжские крестьяне (один из симбирских снимков).

ресовался искусством и в конце концов был принят в Академию художеств. Чтобы быть поближе к Вильяму, который очень скучал без родных, вся семья переехала на Васильевский остров и поселилась в доме позади здания Биржи.

В 1852 году Вильям окончил с отличием академию, и отец, довольный его успехами, дал ему деньги на поездку в Рим. Но, когда началась Крымская война, Вильям вернулся домой. С тех пор, не считая двух кратких визитов в Англию, он никогда не покидал Россию.

В Петербурге он застал горячие дискуссии, вызванные быстрыми успехами фотографии. В Лондоне, например, было в то время свыше ста фотографов. Вильям, который уже пришел к убеждению, что он никогда не составит себе большого имени как портретист, начал всерьез подумывать о том, чтобы заняться этим новым увлекательным делом.

Летом 1857 года Вильям вместе с матерью поехал на родину, чтобы устроить своего младшего брата в медицинский колледж, а сестру в пансион для девушек. Находясь в Эдинбурге, он изучал фотоаппараты и подружился с Джоном Макгрегором, опытным фототехником. И они договорились работать вместе в Петербурге.

Следующей весной после долгих поисков Вильям нашел помещение для фотоателье в верхнем этаже дома № 9 по Малой Морской, недалеко от Исаакиевского собора. Он сообщил об этом Макгрегору, который, тут же упаковав свои немногочисленные вещи, сел на корабль и приплыл в Россию.

Скоро ателье на Малой Морской было готово, приемная комната для посетителей обставлена мебелью, повешены занавески и портьеры. «Они заработали 45 рублей на прошлой неделе»,— писала миссис Каррик своему младшему сыну.

Но, несмотря на энергию Макгрегора и искусство Вильяма, они не очень-то процветали. Трудности, с которыми они сталкивались, испытывали все фотографы Петербурга. Было сложно найти хорошо подготовленных технических помощников. Мало было клиентов среднего класса, которые на Западе являлись главными заказчиками фотопортретов. Но самая большая трудность заключалась в том, что солнце тогда было единственным источником света при съемке и проявлении снимков, а они работали в городе, где

в среднем только дней сто в году солнце действительно светит. И как часто зимой из-за ненастной погоды им приходилось подолгу сидеть без работы!

«Положение у нас тяжелое, но причина очень простая — всю зиму мы ничего не делали, так же, как и другие фотографы в Петербурге, а нам надо было жить,— писал Макгрегор,— у нас были долги, связанные с покупкой материалов для фотографии, и другие».

Но, несмотря на трудности, владельцы ателье не теряли бодрости духа и оптимизма. Вильям быстро распознал возможности фотографии в репродуцировании графики и живописи. Он сумел заинтересовать этой идеей своих многочисленных друзей-художников и первым в России начал делать художественные репродукции.

Однако главной работой Вильяма были уникальные для того времени снимки простого народа. Он называл эту серию «Русские типы».

Люди, которых Вильям и Макгрегор собирали у себя в студии или фотографировали прямо на улицах, были разносчиками и коробейниками, продавшими корзины и перчатки, диких гусей и горячие пирожки... Делались фотографии чистильщиков улиц, трубочистов, почтальонов, молочниц, мужиков, сидящих в чайной, солдат, монахинь, извозчиков, странников и просто бродяг.

Миссис Каррик огорчалась тем, что ее любимый сын так непрактичен: вместо того, чтобы заниматься портретами тех людей, которые могут хорошо заплатить за роскошь быть сфотографированными, он снимает весь этот бедный народ. Но Вильяма эта работа интересовала больше всего.

«Князья и княгини,— пишет он матери зимой 1863—1864 гг.,— графы и графини, генералы и полковники с их дамами, ливрейные лакеи, горничные и поварихи — все приходят на нашу мансарду и по очереди позируют для портрета. Пришел первым — обслуживается первым, со всеми я одинаково любезен и для всех стараюсь сделать все, что могу. Если я и делаю разницу, то, конечно, в пользу низшего и более бедного класса. Я обращаю на них больше внимания потому, что они больше нуждаются в нем, чем высокопоставленные и богатые. Дни сейчас великолепные,— продолжает он,— и процесс позирования и фотографирования проходит очень успешно, тогда как в плохую погоду часто жалеешь каждую каплю коллодия для промывания и каждую каплю раствора для проявления, зная, что никакая высшая мудрость никогда не сможет улучшить качество негатива, если не хватает света».

В ту зиму Вильям познакомился с графом Зичи. Этот венгерский акварелист, приехав в Россию, возвысился до положения придворного художника. Зичи быстро оценил мастерство Вильяма, они стали сотрудничать. Репродукции работ Зичи, выполненные Карриком и Макгрегором, публиковались в журналах и продавались на Невском.

Тем временем Вильям, уже не довольствуясь только работой в своем петербургском ателье, стал подумывать о путешествиях по стране. Первая вылазка за город состоялась летом семидесятого года.

Вильям пишет матери: «...Мак и я решили поехать на лодке по Черной речке на селедочный причал. Мы сделали несколько снимков с кораблями и лодками очень успешно».

На следующее лето Вильям и Макгрегор совершили путешествие по Волге до Симбирска. В этой экспедиции им удалось сделать серию необыкновенных фотографий крестьян — на ярмарках, деревенских праздниках, во время пахоты, сбора урожая, рубки леса или просто позирующих перед камерой. К сожалению, эти негативы (их сберегла моя бабушка) не очень хорошо сохранились, но и в таком виде они впечатляют.

«Я взял свои симбирские снимки,— пишет Вильям в сентябре 1871 года сестре,— чтобы показать их старому Брюллову, и он так восхищался ими! Он даже надел две пары очков и время от времени отдыхал — ведь это не шутка просмотреть, как знатоку, 200 карточек кабинетного размера!»

Речь здесь идет о профессоре архитектуры Брюллове (брате знаменитого художника), у которого Вильям учился в Академии художеств. В том же году с помощью сына старого Брюллова, Павла,— тоже архитектора и друга Вильяма — несколько фотографий из ателье с Малой Морской с успехом демонстрировались на Международной выставке в Лондоне. Но, к сожалению, под фотографиями не было поставлено имя Каррика, было только написано, что они сделаны в России.

А вскоре Вильяма постиг тяжелый удар: в августе 1872 года после короткой и совершенно необъяснимой тогда болезни умер мистер Макгрегор. В письме к своей сестре Вильям сокрушается: «Я не только потерял партнера, без которого мне очень трудно вести дела, но потерял в нем наиболее искреннего и преданного друга, какого когда-либо имел».

Вильям был очень близок с матерью, обожавшей своего первенца и называвшей его «товарищем моей юности». Ведь ей не было еще и семнадцати, когда он родился. А после смерти отца он стал ее главным советчиком, помогал ей дать образование своему младшему брату и сестре. Он долго скрывал от матери, что вступил в гражданский брак, но, когда во всем ей открылся, она вопреки своим принципам, все же признала его брак и с тех пор стала частым гостем в семье Вильяма.

Его жена, Александра Маркелова (Сашура, как ее звали близкие), была одной из немногих в ту пору женщин, занимавшихся журналистикой. Она слыла «безбожной женщиной» и нигилисткой, была против церковного брака. У Вильяма было от нее два сына: Дмитрий и Валерий. Последний унаследовал художественные наклонности отца и стал впоследствии известным карикатуристом. А в Москве сейчас живет внучка Дмитрия, учительница математики Атэа Каррик,— я всегда навещаю ее, когда приезжаю в вашу страну.

Летом 1878 года Вильям вновь отправился по Волге — побывал в Рыбинске, в Нижнем Новгороде, ездил в чувашские деревни, где много фотографировал крестьян.

Той же зимой, когда ему шел лишь пятьдесят второй год, Вильям Каррик умер от сильнейшей простуды: раздетый, он перебегал с мокрыми негативами из лаборатории, которую ему предоставили в Академии художеств, на свою квартиру на 5-й линии Васильевского острова...

Фелисити ЭШБИ